

[Цветаева А. Моя Эстония // Радуга. 1991. № 1. С. 17-29. № 2. С. 15-26. № 3. С. 13-18]

В тексте сохранены все особенности печатного источника

АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА. МОЯ ЭСТОНИЯ

*Посвящается светлой памяти
Александра Левина*

ЧАСТЬ 1

ПРОЛОГ

Моя встреча с Эстонией произошла в годы моей ссылки («навечно») в Сибири в 1954 году. Через село Пихтовка (170 километров от Новосибирска) шел этап сосланных из Эстонии, так называемых «кулаков». Этап шел куда-то дальше наших мест. Мы видели их лица; они казались друг на друга похожими по общему типу их — честных, открытых, — трудяги все, как один, упорным трудом наработавшие себе корову, лошадь, овец и, может, вторую корову (молочное хозяйство так свойственно их народу), дом и двор, огород, сад (все в идеальном порядке), — и за это их гнали теперь, за жизнь в достатке, — в Сибирь, назвав «кулаками». Но одного из этапа оставили в нашей Пихтовке, — тракториста, для работы в МТС (машинно-тракторная станция). Это совпало с днями, когда я переезжала в другую избу, из маленькой моей, в 3×3, перестроенную из конюшни. Услыхав, что я переезжаю, тракторист-эстонец пришел ко мне, звали его Лемперт Йохеллес. Это было за несколько лет до девальвации и потому все вместе: и постройка избушки, и забор вокруг картофельного огорода, и двойные рамы, и сени из горбыля — все обошлось мне в 4,5 тысячи (после девальвации 450 рублей), но у эстонца было всего 1700 рублей. Он предложил их мне, — и я согласилась. Это были деньги «с неба»! — ведь на мою кроху-избушку, может быть, не нашлось бы другого покупателя. Да и с кем торговаться? — с тем, у кого больше нет денег? Но и эти 1700 были в будущем, в его рассчитанных возможностях.

— Я пристрою еще комнатку, — сказал Йохеллес, — и выпишу жену и дочку, Вайке, двух лет...

Помню одну из выплат: он встретил меня на улице, неся мне 300 рублей.

— Зайдемте сюда, на крылечко, к знакомым, — сказала я, — я напишу расписку. —

— Расписку? — переспросил он, — зачем? Я дал деньги, Вы — получили... — Меня умилило этим до недр.

Часть долга он приносил мукой овсяной, и моя невестка, приехавшая с детьми ко мне, потому что моего сына арестовали, пекла овсяные лепешки в той русской печи, которая оказалась сердцем купленной в самом селе большой избы (куда перешла и невестке с детьми).

А купила я ее — тоже чудом: подруга, профессор английского языка, Зоя Михайловна Цветкова, выиграла по займу деньги и написала мне: «Мои три дочери устроены, преподают английский, муж — на пенсии, я — работаю. И я разделила выигрыш на тех, кто попал в беду, на Вашу долю пришлось три тысячи».

Помню день, принесший радость и эстонцу, и мне: когда он притащил мне муки — не овсянки, а пшеничной, невестка испекла детям пирожки с картошкой. Но помню и день огорчения, тоже двойного: я, в суете переезда, забыла сказать Лемперту Йохеллесу, что перед окошком с торца избышки высажены черенки морозоустойчивых роз, присланных мне старшей сестрой Валерией Ивановной, из ее тарусского сада. Они перезимовали под самодельным шатром из соломы и ждали весны — расцвести... И, не зная, что это за ростки, невзрачные, он место, где было удобнее ему у входа в избышку сделать ворота, запахал и расчистил. Как мы оба огорчились! Эстонцы так любят цветы. Йохеллес сокрушался: «Моя жена так любит розы...» Как я себя упрекала!

Так я породнилась с Эстонией в далеком сибирском селе, за 13 лет до лета, когда я впервые приехала в Кясму, в 1967 году.

И вскоре, в Кясму, я подружилась с пожилой полуэстонкой, полушведкой Велли Сандбанк. Она знала немецкий, и на этом языке мы с нею говорили. Она все еще была красива. Она жила в своем доме, ухаживала за разнообразными цветами и охотно беседовала со мной. Она рассказала мне историю своей семьи. Муж ее был капитан. Его портрет стоял на верху пианино, на котором с ее позволения проходила музыкальный урок моя внучка Оля, одиннадцати лет. Я часто смотрела на портрет умершего капитана. Трудно вообразить лицо честнее, открытее. Светлые глаза отражали морскую даль, взгляд был благожелателен и приветлив. Его не тронула советская власть, когда водворилась в Эстонии. Но его сына, пасынка Велли, который возглавлял подводный флот Эстонии, арестовали и, как стало привычно в наши дни говорить, — дали 15 лет.

Отец не дождался возвращения сына, не было и вести от него. В тихий вечер, когда Велли писала письмо подруге, как всегда, прочитав главу Библии, он собирался отойти ко сну, ему, должно быть, стало нехорошо с

сердцем: Велли услышала стеклянный звук пузырька лекарственного о стаканчик. Она бросилась к мужу, подала ему лекарство, села рядом с ним. Он лег, она прилегла рядом, головой о его подушку, и это был час его тихой смерти — вечер, не перешедший в ночь.

Вскоре по кончине его пришла первая весть: сын просил помощи, болея. Велли тотчас же послала телеграфом денег, потом посылку, и эта помощь длилась 3,5 года, Как ждала вестей от него Велли! Как радовалась! Оставалось всего 1,5 года дожидаться! Увы, пришла скорбная весть: помощь ее не вернула пасынку силы, он умер на далекой чужбине.

Портрет его стоял на пианино рядом с портретом отца: так похожи они были — не столько чертами, сколько выражением лица: светлый взгляд, устремленный вдаль, доброта, честность, благожелательность, — не хотелось отвести глаз... Подруга моя, Евгения Кунина, тоже пристрастившаяся к Эстонии, тесно сдружилась с Велли и всегда приносила ей любимый эстонский хлеб — сепик.

Годы шли, Велли уже не могла ухаживать за цветами, болела. Она легла в самом уголку кладбища Кясму, в могилу своих родителей, и я подхожу к ним, и ставлю цветы в банку с водой, и молюсь за их упокой, и вижу ее снимок, синие улыбающиеся глаза.

Пред моим окном — 21-е лето — высоченное дерево, яблоня, вдвое выше тех, что я видела, с детства, в России. И когда к осени вызревают яблоки, я вижу их на такой высоте — сказочной... На ветках, куда не достичь ничем, — румянится райский плод, много выше двухэтажного дома. Это — Эстония. Ниже — малинник: мелкокудрявые зеленые волны, игралище ветра.

Я приехала сюда — Молодой старухой, 72-х лет, с 10-летней внучкой Олей, и я посвятила Оле пачку моих эстонских рассказов. Но, выросши здесь, внучка Оля сюда больше не ездит, у нее уже мальчики — Сыновья, а я стала Старой старухой, мне идет 93-й, и пора написать, наконец, об Эстонии. Не об Эстонии вообще, — о моей, личной Эстонии.

Я начинаю этот рассказ, эти воспоминания глубокой ночью, с 10 на 11 августа, за 16 дней до отъезда в Монастырь Пюхтица в Половину Четвертого Ночи. А когда так пишешь Названия, все с Заглавной, — все становится Живым, как Действующее Лицо, — не так ли?

Очень тихо ночью в Эстонии, когда все спят, когда в Белую Ночь всплывает Луна, когда Ночь перестала быть Белой (в Августе тут рано темнеет, к Полуночи) и тогда настает Время Сказок, Время Воспоминаний, — но тогда, увы, настает Время Сна, потому иначе вовсе не ляжешь, а все будешь Писать, а как же тогда встать? Тогда вовсе не встанешь... Итак, мы продолжим — Завтра...

Когда я приехала в 1987 году в Кясму со спутницей много моложе меня, все цвело двойным цветом: белый — цвет яблонь уже сыпался с веток, устилая тропинки сада (ковром) вдоль комнат хозяйки Марии и моего крыльца, а все улицы поселка были сплошь лиловые. Вы думаете, что они усажены кустами? Нет, это Деревья сирени — лиловые, Справа, Слева и на боковых улицах — Все Деревья Лиловые, вдвое выше домов, потому что это — Эстония... А какой дух стоит — разве скажешь? Точно Вся Сирень, Всего Света — здесь... Идешь — и тебя качает: вместо воздуха — густой запах Сирени...

А почти у самой двери в дом, где я живу уже 21-й раз, в ряду кустов стоят два куста густо усыпанных крошечными бутонами будущих маленьких роз без шипов. Их ветви густы, как у кустов шиповника. Это — белые розы: бутоны выдают свою тайну — тонкими ободками белого цвета вокруг завязи. Густота бутонов — невиданная. Но, вчера еще совсем одинаковые, а сегодня два-три, три-четыре вспыхнули, как белые мотыльки, на ветки присевшие, белые крылышки, в отваге и спешке — раскрыться. Первые розы куста!

Между этих двух кустов — проход; но когда вечер — то ветви, перегруженные бутонами, почти сливаются, затрудняя человеку — путь. На обоих кустах эти мотыльковые, рвущиеся к расцвету бутоны, и, может быть, кусты между собой спорят, у кого — больше этих, начавших раскрываться, засветившихся... Люди идут мимо, не замечая, не чувствуя жара происходящего, им все — некогда, у них все — дела... Но если прислушаться к ветру, к шороху веток, приглядеться, идя утром, идя — вечером, то, несомненно, услышишь разницу — за часы, — ведь расцветание неостановимо, и те бутоны, что были утром лишь означены у зелени — белизною, вечером — полумотыльки!

Но «вчера» — нет, тут дело идет только о «завтра», завтра полумотыльки будут уже — мотыльками, солнцем превращаемыми в невиданно маленькие розы, махровые, густо-густо оснащенные лепестками.

Первые розы куста! Те, что дрожали вчера от трепета расцветания, блаженствуют в покое расцвета, неслышимо на стебельке, простерши лепестки в поток солнца. Ярко-белые, как недавно — опавший яблоневый цвет. (Опавший? Но его уже нет, он погас, исчез, его размело, — разве он был? Есть только этот час блаженства...) Их число, вчера бывшее, три-четыре? Еще можно их сосчитать, а завтра — звезды так усыпают небо, как они усыплют — кусты!

Я прохожу между ними, так лежит мой путь, я нечаянно задеваю их великолепие, очень легко, сплошь розами осыпанное, — белый сияющий куст! Два куста, два великолепия — как были недавно деревья, сиренью

цветущие, лилового цвета улицы. Где в России увидишь такое? Это — Эстония...

Дни — они быстро идут! Они заняты событиями, как люди — делами. Они отвлекают нас от наслаждения цветами, а я, которая не отвлекаюсь, почти привыкла уже к кустам роз, стараюсь их описать, сравнивая с шиповником... Но шиповник одаряет редкими, крупными, алыми цветами, не махровыми, а такие два куста вижу впервые, хотя мне 90 и еще 3.

Но в Эстонии погода изменчива. Был ветер, был дождь, сильный дождь, и в нем закрутились кусты, намокшие, и начали опадать те самые первые розы! Как недолго они цвели!.. Как все недолговечно на свете!.. Но бутонов великое множество, происходит великая смена, и те, что не падают, — те еще только готовятся расцвести, — изобилие их празднует свой час, ничего не зная об опадании, как не понимают своих родителей растущие им на смену.

Я все хожу перед кустами и между кустов, замечаю, как поредели розы, как усыпана легким белым ковром, веющим, земля... Земля — Царство метаморфоз! Уже исчезли с веток кустов маленькие махровые розы, вместо них крошечные красные созревающие тугие — как бы назвать? полушарики плода? —местилище для семян?..

И их не видя, не чувствуя, им не родня, доцветают на кустах последние розы, две-три, три-четыре, с тем же правом на доцветание, праздничное, блаженное, как когда создавался мир.

Двадцать первый год я летом живу в эстонском поселке Кясму (Käsmu в эстонском написании) и сколько Бог даст — буду летом ездить сюда...

В Кясму — не строятся. Сколько есть домов — не прибавится. И те счастливы, кто попал в какую-то комнату — так и продолжают туда приезжать год за годом, до того получив в своем отделении милиции пропуск по вызову хозяйки с места на 3 месяца в пограничную зону, ибо напротив Кясму — Финляндия, если смотреть отсюда — справа по карте, справа от Таллинна (Ревель звался когда-то...). А что от него влево — то не обладает пограничными зонами, потому что через море — наш Выборг.

Я живу в доме Марии Эйнхольм, бывшей капитанши. Муж ее, от советской власти ушедший со своим кораблем в Швецию, дважды присылал за ней шхуну или яхту — не помню, но она отказалась покинуть Эстонию, родину. Его фотографию я видела в альбоме капитанов, изданном там, далеко за рубежом... Но, оставшись одна и через годы встретив простого рыбака Волли, тихого, доброго, ее полюбившего, она согласилась стать его женой.

... Запомнив щегольскую наружность первого мужа Марии, я однажды спросила ее: кто же из этих, судьбою ей данных защитников ей был более по

сердцу. Мария ответила несокрушимым коротким ответом: Волли — лучше! И эти два слова на моем языке (из коих одно было — имя эстонское) прозвучали таким теплом! Этим теплом теперь звучат — скамеечка у его могилы, камень с его именем, цветы, побеждающие камень, и все это — позади могилы отца и матери, в ряду с могилами сестры и брага, отрока и отроковицы, в ряду тепла, здесь — отгоревшего, Там — ее ждущего...

Мария! Двадцать лет назад из рук парикмахера выходявшая с каштановыми кудрями, теперь давно уже — с кудрями серебряными над прелестным, четким лицом... Мария — не простая женщина, она — дама. Она — воплощение изящества, женской грации, и об этом, кроме ее наружности и повадок, говорят ее шкафы с книгами. Хотя болезнь смолоду ее наградила — согнутой позой и затрудненным шагом, которым она обходит дорожки своих владений, и все же — грация побеждает... я наблюдаю ее, когда она поливает цветы или ставит на окошко соседу моему и мне тарелку с клубникой — собранную ею — сидя на стульчике — в неудобной позе.

И сменяются дни эстонского лета, полного метаморфоз, и ставит рука Марии нам на окна — малину, за которой мы видели ее ходящей больным шагом среди густых зарослей. И еще перевертываются листы календарные, и нежданно входит Мария — и на тарелке несет — яблоки, еще зеленоватые, но уже побеждает в них желтизна, солнечная. И улыбается доброе красивое лицо Марии, торжественное по неизвестности — что она пытается сейчас сказать по-русски...

Хочется мне не забыть один удивительный случай. В доме, где я живу, в доме Марии Эйнхольм. Был вечер, но белый — начиналась белая ночь, — и совсем нежданно грянула — гроза. Она подходила медленно, угрожая, грозя разразиться над самым домом Марии, — и грохнула, громом и молнией так, что всю силу свою бросила на одну из оконных рам моей террасы, на которой я находилась. Удар грома, грохот и блеск — зигзаг молнии так же остр, как узор грохота в небе — и на моих глазах рушится, вылетает закрытая рама! Но и на моих глазах ее, подскочив, ловит Волли — она вылетела ему прямо в руки — и он хозяйским, ловким движением вставляет ее на место! И остальные окна стеклянной террасы принимают шквалы ударов, отражают молнию, как в игре в мяч!

Это зрелище мне никогда не забыть — по громовой его складности, мгновенности и нежданности, неповторимой в веках.

Уже после смерти Волли я постаралась рассказать Марии небывалость этого случая, но так как я не говорю по-эстонски, то передал ли переводчик ей весь блеск поведения Волли полною мерою — я никогда не узнаю.

Отношение эстонцев к цветам — это страсть. Пока мы, русские, спим, встаем, хозяева уже давно поливают цветы. Великолепен контраст мелколиственной светлой зелени кустов белых роз с темно-зелеными широко-длинными листьями алых пионов.

Еще далеко до цветения: над круглотой и мощью кустов, на крепких стеблях — шарики с грецкий орех, еще неясного цвета; темных и неспешащих. Все в будущем! Подросточный возраст пионов. Но дождь, но солнце, еще дождь — и обозначилась пунцовость шаров, еще туго закрытых, но выросших. И тогда я вижу, со ступенек крыльца — на одном стебле — нет, о, на трех — чудо расцветания пиона: широкая чашечка, насыщенная крутыми пунцовыми лепестками, чуть покачивается в ветерке, вознесшись над сестрами и соседями, одна из них живущая полным дыханьем! А на завтра весь куст просыпается в предчувствии расцвета, как рассвет — в предчувствии утра...

Я, конечно, живу, как и все, в делах, целый день, но где-то в глубине подсознания — помню, что кусты расцветают, что завтра — два-три, три-четыре шара расцветут, заблудившись среди уже раскрывшихся чаш пионов, темно-красных, пунцовых — на гордом тугом стебле...

День идет за днем, дождем и ветром, пионы влажные изнемогают от красоты. На ближнем одна большая чаша пиона вознеслась выше всех, замерла в блаженстве. И я, к ней нагнувшись, шепчу ей:

— Не увядай! Ты одна! Останься! Не увянь! Ты слышишь? — И я чувствую, я слышу — ответ... Я слышу пунцовую тишину...

Проходит неделя. Ветры, дожди, время. Печаль метаморфозы — налицо: то, что было темно-красное, — отцветает в первую розовость, а те, что были розовые, почти белы, одни розовые ободки. И ветер сметает с кустов — пунцовые и бело-розовые лепестки, под кустами — густой коврики.

Когда я впервые приехала в Кясму с младшей внучкой Олей, все пять лет ее там день был полон: до обеда — английский язык, после обеденного двухчасового сна — занятия музыкой (десятилетняя внучка была отличного веселого нрава, не просила пощады, училась охотно), вечер — с друзьями.

1967-ой, 68-ой, 69-ой, 70-ый, 71-ый — пять раз летние месяцы прошли в дружбе, радости, смехе, подарках. Так, за лето пройдя языковой учебник, она знала его не хуже зимней учительницы, «преподавая» его на переменах весело, гордо, — подругам, — но книг по-английски без меня не читала и, перестав со мною ездить в Эстонию, — должно быть, язык позабыла... И хоть упомянем о том, как в ее 12 лет ей делали в Раквере операцию аппендицита (а в Павлодар, где работал отец, и в Архангельск, куда поехала повидаться к родным мать, летели телеграммы. Оттуда — молитвы). Не забыть, как в

Раквере, районном городе, куда привезли нас с ней, композитор Николай Петрович Раков с женой Лидией Антоновной в ответ на просьбу мою об автомобильной помощи в город, в больницу, тут же, не пообедав, подали к калитке сада машину и повезли нас за 50 км... Ночью, при свете двух керосиновых ламп, зажженных из-за аварии с электричеством, прошла операция, после которой в конце первого же дня Оле было сказано встать, но из-за головокружения — позволено лежать, а на второй день она сошла ко мне по тяжелой каменной лестнице, придерживая рукой правый бок. Операцию и больницу до сих пор моя внучка, ныне 30-летняя, вспоминает со светлым чувством (разрез был в 4 см, и ни боли, ни тяжести...) И ласковость к ней.

В Раквереском книжном магазине нам удалось найти двухтомник Андерсена и множество детских книг, как эстонских, так и русских.

На автостанции и рынке есть аптека и оптика. Прочтя название последней, одна первоклассница выразила неодобрение: «В одном слове — и две ошибки!» — (приняв оптику за аптеку).

РОЗА

*Посвящается моей внучке
Оле Трухачевой*

Она увядала, маленькая, палевая роза в высоком тонком стакане, и его тяжелая водяная глубь и серебринка по краю круга были прекраснее немощного цветка.

Пересекши Кясмуское кладбище, подруга, старая, как и я, принесла его мне, и мне хотелось продлить его угасавшую, как и наша, жизнь.

Мне кто-то сказал давно, что если в цветочную воду всыпать сахарного песка — это поддержит силу цветения. И вслед, пузырьком со дна памяти, всплыл совет развести в воде полтаблетки аспирина. А может быть, — целую? Легкий прозрачный самум летит на дно, услащая стебель. В пальцах хрупко растирается порошок, утишающий жар человека. Он волшебным образом поможет цветку? Стакан стал мутным. Была ночь. Я пошла спать.

Утром, войдя на терраску, — я сделалась, как жена Лота, — соляной столб: над узким стаканом поднялось в воздух — чудо; оно парило, как птица в жаре, оно пылало новым родившимся цветком, слегка алое. Большие округлые твердые лепестки — их стало столько, что роза казалась махровой — вычурно, пышно, торжественно окружали они завязь цветка, из которой шла по зарозовевшим лепесткам — алость, тая в сверкании света и краям.

Роза чуть покачивалась от великолепия на выросшем стебле. Я

нагнулась над чудом — оно пахло, как роща роз!

Скорее! Олину тетрадь рисовальную, и хоть карандашом — зарисовку... самой большой розы, виданной за 74 года! Я бросилась в комнату — за Олей! Но она уже сама шла: прелестная, ласковая, двенадцатилетняя, еще розовая от сна.

— Ах!.. — она замерла на месте.

Когда я вернулась с тетрадкой, карандашом и резинкой, золотые глаза Олины были в слезах...

— Бабушка, я только пальцем притронулась — и вдруг все упало...

Они еще продолжали падать, опустошая рог изобилия: капали алыми каплями гигантские перезрелые лепестки. Только два еще держались на стебле с колючками и листьями.

Пустой завязи, только что источавшей амброзию, — казалось сто лет!

Оля плакала...

Как простить себе, что я ее упрекнула? Ведь я поступила с ее слезами несравненно хуже, чем она с лепестками розы.

Я шла через эстонское кладбище — тут они — как в саду, расчищены и пылают цветами, — шла мимо живых роз, — рассказать подруге о нашей и о моей вине перед Олей...

Кясму, лето 1969 г.

Все эти воспоминания о Кясму для меня «ежелетка» — с лет моей младшей внучки Оли от 10 до 14 — пронизывалась моими днями с нею, росшей со мною мирно, весело, в исключительном для ее возраста послушании. Она никогда со мною не спорила, это ей в ее веселых и дружных днях со мной — как-то не приходило в голову (в противоположность моей старшей внучке Рите, со мной всегда спорившей, 10 лет назад, своевольной, и, несмотря на ее несомненную привязанность ко мне, часто со мной дерзкой. Но рядом с этим шло ее покаяние, сильное, от души, от самых глубин, идущее, возвращавшее часть утраченного мира). Ничего этого с Олей не было. Она, должно быть, была дольше и прочнее — ребенком, чем Рита. И, раз войдя, с детства, в колею мира со мной, не колебалась в ней, от природы веселая и веселая органически, смехом заливавшая день, даже не задумывалась над тем, не много ли мы (английский и музыка) учимся, никогда не бунтовала, не противилась. С матерью часто капризная и непослушная, со мною настолько иначе себя вела, что Рита, нередко этим поражавшаяся, лет в девятнадцать, ей, десятилетней, при мне говорила: «Как ты можешь так слушаться бабушку? Я в твоём возрасте всегда спорила с бабушкой...» И Оля, как взрослая, как старшая сестра в этом

пункте, уклонялась, не углубляя вопроса. Кто бы знал, какой станет потом мирная, веселая, в благословенном Кясму младшая внучка, нацело ко мне другим боком обратившаяся, в лето ее 14-летия, последнее свое лето со мной...

Но до того — далеко, будущее нам не известно, заливая дни наши английской речью (мы никогда не говорили по-русски, даже не соскальзывали на родной язык, так родным нам стал английский. К удивлению окружающих, видящих этих двоих — и стар, и млад — иностранцами среди русских. С Ритой я начала английский с пяти лет в Сибири, с Олей с восьми лет — в Павлодаре и летами в восемь и девять лет в Паланге.

Но специфика нашей с Олей жизни была — музыка, начав с шести лет, поверив в ее слух, я уже через полгода убедилась, что слух развивается; детонирование, сползание в «до» с «си» или с «ре» кончилось, стала давать чистый звук, в шесть с половиной, начав уроки с бывшей певицей, жившей в нашем дворе в Павлодаре, и дававшей ей уроки — со мной, она через два месяца усиленных и веселых занятий поразила старушек-немок в дружеском доме тем, как легко играла и по нотам, и наизусть крохи-пъески, как без труда запоминала знаки пауз, бемоли, диезы, бекары, подстрочные и надстрочные ноты... Старушки ахали над чашечками кофе, восхищались... И дело шло!

Так Оля училась с семи до десяти лет. Правда, таких успехов, как в первый год, уже не было; в мои отъезды в Москву на зиму она не так рьяно, как при мне, делала уроки, в девять лет она стала жаловаться, а я, — думать о музыкальной школе. Но поступление туда удалось только в одиннадцать лет, и в то, первое наше с ней лето в Эстонии ее десяти лет встал вопрос о том, где мы будем играть на рояле и с кем (я только надзирала за уроками). С кем — сразу нашлось: две подруги, девушки-музыкантши московские вызвались вести ее летние занятия, плененные ее послушанием мне: Юля и Ирина. Они жили на берегу, у самого моря, в маленькой комнатке на 2-ом этаже, дружно, вдвоем, как мы. Но — рояль?

И мы стали ездить на автобусе в соседний курортник — Вызу, где в Доме культуры были и рояль, и пианино. Где было свободно — там и играли. Так прошло, может быть, лета два. А затем я узнала, что близко в большом саду в собственном доме живет старушка — полушведка, полуэстонка, проуа (фрау) Вэлли Сандбанк, о которой я уже писала, и у нее — пианино. Я бросилась к ней. Дородная, в прошлом — красавица, синеглазая, добрая, седая, в царстве цветов, как все эстонцы, живущая, она согласилась, и я еле упростила ее принять от меня за месяц (ежедневных полтора часа) — 15 р. Но

так как дружба, сразу вспыхнувшая, росла, то эти пятнадцать оказались единственными. Царственно-добрая проуа Вэлли — больше не приняла от меня денег...

Но я забежала вперед. Должно быть, в одиннадцать Олиных лет (ее рождение было 1 июля, в День Боголюбской Божьей Матери — эту икону носили в Тарусе в нашем с Мариной детстве крестным ходом — и праздновали мы его все лета у нашей соседки, живущей через дорогу, родившейся с Олей в один день на полвека раньше, Молли Борисовны, приветливой, светской, умной петербурженки), когда не было киносеансов в Кясмуском Клубе, удавалось играть — там. Клубом ведала Алиса Пикамяэ хозяйка Юли и Ириночки, и она стала мне давать ключ от клуба. И вот однажды, когда мы, Оля и я, у самой двери, раскрытой в лес, где стояло клубное пианино, занимались разучиванием заданного нам Юлей и Ириночкой урока, из самой гущи леса, как в сказке, вдруг раздался женский голос:

— Не «фа», а «фа диез»!

В голосе была власть и, как во сне, прелесть.

Оля, смутясь, взглядом спрашивала у меня, что это? Я еще ничего не успела понять, когда из лесу показалось очертание высокой женской фигуры в светлом, и смеющийся голос проговорил внятно, глядя на меня:

— Ваша девочка ошиблась. Пусть сыграет снова внимательно! Она взяла «фа», а надо — «фа диез»...

В этот день зародилась одна из самых больших, несмотря на редкие встречи, дружба моей старческой жизни. Не гаснущая с годами, а растущая. Торжественная, как музыка, с которой она началась. Дружба с Ольгой Семеновной Гальпериной, оказавшейся пианисткой, концертмейстером, окончившей консерваторию, жившей, как и мы с Олей, уже не первое лето, недалеко от нас. Кажется, в то же лето, когда Юля с Ириночкой уехали, а мы с Олей доживали лето в Кясму (до возвращения в Павлодар к началу школьного сезона — в 4-ый Олин класс), Ольга Семеновна начала заниматься с Олей музыкой. И тогда я впервые почувствовала, что такое настоящий преподаватель музыки, как в руках ее Оля стала воском, гипнотически следуя ее указаниям, легко (и не могло быть иначе в руках Ольги Семеновны) перенимая ее пояснение вещи, ее интонацию. Я поняла, в какие властные, талантливые, волшебные, умелые руки попала, наконец, Оля... Но — увы — выросши, не в меня пошла: 9 лет музыкальных занятий, с похвалами, с достижениями, окончив музыкальную школу, музыку бросила, и пианино, искусно выбранное тремя музыкантами, пальцем не трогает... А дружба моя с Ольгой Семеновной цветет и цветет, ей уже 20 лет...

ЭСТОНСКАЯ ОВЕЧЬЯ ПОЛЯНА

Внучке моей, Оле Трухачевой

В то утро мы вернулись — двенадцатилетняя внучка Оля и я — из Вызу, где она, упражнялась на рояле в клубе Дома культуры, одержала победу над ее очередным заданием — «Вариациями» Паганини в обработке Выгодского. Когда мы выходили оттуда, ко мне подошла знакомая — худенькая, оживленная француженка, вышедшая замуж за русского музыканта.

— Кто так чудесно играл сейчас Паганини? — спросила она. Мы просияли.

— Моя внучка!

— Вот эта? Девочка? О-о!.. — посыпались похвалы.

Старые сосны шумели над нами в несмолкаемом балтийском ветре. Они тоже радовались! Как не сообщить такое — той московской музыкантше, которая и задала Оле «Вариации»! Приехав к себе в Кясму, мы поспешили к ней.

Путь лежал через овечью поляну. Нет, это мы так ее называли, хотя овец было всегда две: мать и дочь, и они паслись на широкой приморской поляне возле залива, купающего в тихом зеркале свои древние валуны.

Но овцам не было видно ни валунов, ни залива, они жили среди травы и кустов по бокам поляны, и им этого хватало для их овечьего счастья. Мать-овца была больше и темнее овцы-дочери, в остальном они были так похожи, точно игрушки одного и того же мастера: курчавая шерсть, тонкие ножки с копытцами, жующие подвижные губы — и желтые, будто пустые, но совсем волшебные глаза.

Целые дни две овцы неразлучно бродили по солнцу и щипали, и щипали траву и одинаковым движением подымали головы, когда кто-нибудь шел мимо. Так было уже — третий? год; младшая росла и делалась все более похожей на мать, и, видя их снова, как и в прошлом году, я забывала, который год вижу их — они были одно с поляной, я видела их столько раз, проходя к заливу, они были — живая часть пейзажа, знакомого, узнаваемого. Они радовались протянутому куску хлеба, — разнообразие в однообразной овечьей пище, вытягивали две одинаковые головы к руке, жадно и ловко хватали гибкой челюстью хлеб, мелко, аккуратно жевали.

Так было и в этот день: мы уже свиделись после зимней разлуки, радуясь, что на свете — мир, солнце и тишина.

Музыкантша Ириночка жила в доме у самого залива, в комнатке

второго этажа, окном в светлую, водную даль с валунами. Она тоже похвалила Олю и сказала, что завтра ее послушает — так ли уж права та француженка... Посидев у нее, мы пошли домой, мимо той высокой ивы, где скворешник.

— Бабушка, знаешь, их кошка играет с детьми до 10 часов вечера, а потом, когда дети ложатся, она лезет спать в скворешник. Скворцы уже улетели... А где очевий хлеб?..

Но, проходя, мы увидели, что поляна — пуста. «За кустами, наверное», — сказала я. Но, подходя к шоссейной дороге, куда, после поляны, шел наш обратный путь, мы услышали жалобный, настойчивый крик, овечий. И только мы на шоссе вышли, как увидели бегущую и мечущуюся по сторонам овцу. Она бежала навстречу и, увидев нас, заблеяла и по-человечески тревожно посмотрела на нас: «Где она? Где она? Где?» — говорил взгляд желтых глаз. Сейчас глаза ее не казались пустыми...

В беспомощной жалости Оля протянула овце оставшийся бутерброд с сыром, я — хлеб. Но овца, мать-овца, отвернулась и побежала от нас к кому-то еще подошедшему и ему заблеяла свой вопрос...

Мы спешили — мы ведь всегда куда-то спешим, но весь вечер с нами был образ осиротевшей, презревшей лакомство, побежавшей прочь от нас, не менявших ее вопроса, не ответивших на него...

А на другой день — летний эстонский день, праздничный, с красками, не бледнее крымских, и поляна снова полна мира и счастья, и нас ими дарят те же две овцы — мать и дочь, щиплют и щиплют травку, одним движением поднимают головы к кускам хлеба, и едят жадно и радостно и благодарно, аккуратным движением мелких, будто бы заводных, немного игрушечных челюстей. И снова в их желтых глазах нет человеческого, одна сказочная и овечья, таинственная пустота — или полнота природы, не вопрошающая, а получившая ответ.

ПТЕНЕЦ

Внучке моей, Оле Трухачевой

Птенец упал из гнезда под крышей, возле крыльца. Кто-то поднял его. Он лежал на сорванных травках, крошечный, еще живой, наверное, легкий, как кусок пепла с пожара. Подобие маленького крыла двигалось вместе с дыханием, и над полуоткрытым клювиком блестел круглый черный глаз. Но почему же он молчит — ни единого звука, из породы щебечущих, испускающих крики?

Внучка Оля и я остановились над ним.

— Лучше его не трогать, — сказал кто-то, — стемнеет, и родители прилетят за ним.

— Унесут?

— Ну конечно. Соединят крылья...

— Может, он хочет есть? Пить?

Оля уже несла на листке — воду и словленную для птенца муху. Но мы тщетно совали ему жизнь — он не тронул ее.

Глаз черно блестел. Ни движения, ни звука.

— Не трогайте его, — сказал, проходя, русский мальчик, — птицы не любят. Видите, летают возле гнезда.

— Ласточки?

Вздыхнув, мы ушли.

День прошел. Мы вернулись из хвойного леса, потом — с моря. Он все так же лежал и дышал, беззвучно. Мы ждали вечера, чтобы птицы его спасли.

Стемнело. Проходя с рыбной ловли, Женя, худенький подросток, сказал Оле:

— Нет, не возьмут его родители... Раз его подняли, трогали, — если человек трогал — уже не возьмут, я читал...

Оля грустила, чем было ее утешить? Что такой, мол, у птиц закон? — Разве это помирит с бессилием целого дома людей перед все еще живым птенцом? Я просталась с ним на ночь. Оля спала. Может быть, все-таки, вопреки зоологии, мать с отцом прилетят, когда я уйду? Ведь он дышит! И глаз так же черно блестит...

Когда, много позже солнца, я встала, он лежал на холодных ночных травках, увядших, торжественный в холодной неподвижности.

Перламутровая скорлупка опустилась на исчезнувший глаз.

День вставал солнечный, синий, крымский день над эстонским поселком, над огородом летели чайки, бил запах моря, ласточки влетали в гнездо и из него вылетали, высоко над крышей.

Я закопала птенца в коробке из-под лекарства, у крыльца, там, где он упал, чтобы не исполнился еще один закон зоологии, чтобы кошка не сожрала птенца.

Возле дома Марии Эйнхольм — поляна, на которую, слева от ее территории, выходит и кладбище с венчающей его — лютеранской церковью, а далее группа на низкорослых стволах пышных сосен, а — в сторону леса, в самом правом углу поляны под соснами — часовня, — каменная, старинная, столь живописная, что ее абрис просится в пейзаж Италии. О ней сохранилась легенда: век назад в России в покушении на царя был замешан знатный житель Эстляндии. Покушение не удалось,

покушавшихся поймали. Должно быть, во время ловли бежавших эстонцев был убит. Его тело взяли похоронить на родине. Был вечер, и гроб до утра был поставлен в эту часовню, чтобы на другой день его похоронить на Кясмуском кладбище. Но ночью грабители, польстившиеся на тело убитого богача, на его золотые перстни, полезли в неохраняемую часовню — и увидели, что вместо тела бревно, а вместо головы — муляж... под цветами. Кто-то проболтался, и весть пошла, но эстонец был уже далеко за границей, в Швеции или Финляндии — в безопасности.

Есть ли в этом правда — понятия не имею.

С 1972 года вместо Оли стала ездить со мной моя подруга, на четыре года моложе, поэтесса и переводчик Е. Ф. Кунина. Первое лето в моей комнате, а со следующего нашедши себе комнатку неподалеку, ездила со мной в Кясму 14 лет, пока не стали перестраивать дом: хозяйка-старушка после смерти мужа нашла себе опекуна, и комнатка ушла в прошлое... А я все живу и все езжу, и каждое лето кто-нибудь из друзей разного возраста ездит со мной. И я вспомнила вечера стихов Евгении Куниной в Доме культуры соседнего маленького курорта Вызу, их неизменный успех.

И так как ее стихи об Эстонии идут в лад с моим рассказом и являются к нему иллюстрацией, я привожу их здесь. Писались они в течение 14 лет.

ПЕРВЫЕ КЯСМУСКИЕ СТИХИ

Где по-эстонски жалобятся чайки,
Друг друга кличут, ссорятся сердито,
Где море пахнет рыбой меж камней,
А камни — одинокие гиганты
И целые стада — словно коровы:
Купаться вышли — да и позабыли...
Да и лежат... а то стоят недвижно,
А море утешеньем небогато...
Пустынен берег —
И тоска пустынна.

Август, 1972

ПРОЩАНИЕ С КЯСМУ (ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЛЕТА)

Три величавых сосны — хозяйки нашей поляны,
Три величавых, раскидистых, пышно одетых сосны.
Кладбище, церковь... Под мягкие гулы органа
Снятся усопшим высокие мирные сны.

Стала знакомой и памятной сердцу поляна.
Дверца резного металла, цветов и надгробий печаль...
Поздно полюбленный Кясму, поздних раскаяний рана —
Неизгладимого лета неизгладима печаль.

Кясму, август, 1972.

У меня сохранилась пленка со снимками кладбища, церкви, органиста за органом, Горят свечи, солнечный луч пересекает скромную лютеранскую церковь...

Моя подруга, привыкшая к Черному морю, не сразу разобралась в прелести тихого залива в Кясму. Но вскоре она полюбила Эстонию и стала писать о ней.

Я учусь языку

Я учусь языку у щебечущих деток Эстонии —
Льноволосых, веселых и ловких, как тролли, ребят.
И у чаек учусь, — потому что я слышу по тону их:
В переключке живой — по-эстонски они говорят.

Я брожу вдоль залива, его побережием узким,
Меж огромных камней, словно сказочных спящих зверей.
Я страну постигаю несходным мышлением русским,
Я постигну. Я — друг. Я вошла — и стою у дверей.

1973

ПАМЯТИ АНТОНА ТАММСААРЕ

Вот теперь понимаю. Теперь понимать начинаю
Молчаливую речь валунов — и Эстонии той,
Где земля на родном языке именована «Маа»,
В переводе на русский, назвать бы ее «маятой».

Где упрямым, надсадным трудом, из столетья в столетье,
Из болот и лесов добывался и хлеб и уют.
Не с такой ли закалки бесстрашно эстонские дети
На прибрежных камнях, словно легкие белки, спуют.

В деревенских садах расцветают махровые маки,
Роз пунцовых и розово-алых сияет рассвет.
Для меня — это духа народного гордые знаки,

Это — сердца веселье, веселье любви и побед.

У ЗАЛИВА

I

От светло-серого до голубого
Едва блеснет волны кипящий лед
И облака — строения любого —
Волшебный переменчивый полет.

Хрустальных дней хрустальная мгновенность
Непрочная как облик облаков —
Неповторимая, как драгоценность,
Похищенная счастьем у веков.

II

Я иду на свиданье к семейству Серебряных ив.
Я сегодня увижу совсем еще сонный залив,
Солнце теплыми пальцами кудри его шевелит,
Утро свежей красою проснуться скорее велит.
Он еще не откинул прохладный рассветный туман,
Он еще голубеет виденьем полуденных стран.
Все дневные заботы в прозрачной тиши позабыв,
Я иду на свиданье к любимому племени ив.

III

МЕЛОДИКА ЭСТОНСКОЙ РЕЧИ

Мелодика эстонской речи —
То щебет птиц, то плеск волны,
То быстрый бег ручьев и речек,
Спешащих в море с вышины.

На ласковом, на теплом камне
Сижу и слушаю, дивясь —
Как непонятная, близка мне
Причудливая эта вязь.

Кясмү, 1973

IV

Словно кто-то стряхнул одуванчики
Над заливом, иль роз лепестки —
Это белые чайки — обманщики
Ширь усеяли, словно цветки.

А залив-то! Коричнево-бурый,
Весь от рыжего ветра косой,
Тучи лепят и лепят скульптуры,
Дождь и солнце летят полосой.

Это первая осени проба,
Это росчерк стального пера...
О, залив! Час прощания пробил:
Нам на зимнюю спячку пора.

Кясму, 1974.

Ну вот, и осень повернула вспять
И значит, нам осталось добирать
Последние заливинки залива,
Последние сининки синевы,
Да воздух Кясму, свежий и счастливый,
Дыханье моря, сосен и травы.

ТАЛЛИНН ВПЕРВЫЕ

Друзьям-художникам в Таллинне

Таллинн. Ливни. Город-сновиденье.
Встречи волшебство. Друзья друзей.
Студия. Портретов наважденье —
Ярких лиц и ярких плоскостей.

Таллинн. Чужеземный и желанный.
Люди — каждый, как живой портрет.
И — художник, силы несказанной:
Мастер, маг, мыслитель и поэт.*

14.III.1974

СОСНЫ РЕЙНДОРФА

Посвящается Адели Рейндорф

А сосны Рейндорфа шумят и шумят величаво,
Печально шумят, величальную песню поют.
Они понимают: бессмертна посмертная слава,
А нам остается утраты таинственный труд.

ТЕРВИСТ! (ПРИВЕТ!)

Пионеров, наверно, автобус привез
В лагерь Кясму, — а, может быть, и октябрят!
Невелички. Но бодро шагает отряд.
И у всех на меня недоверчивый взгляд.

«Эта тетка — чужая?» — безмолвный вопрос.
И враждебность. А тетка внезапным кивком
И улыбкою, словно взмахнула флажком:
— Тервист! — крикнула. — Тервист! — ребятам привет.
И сейчас же ей радостно, хором в ответ —
«Тервист, тервист!» — за рядом приветствует ряд,
И улыбки, и дружеский взгляд.

Кясму, 21.VII.1976

ТАИНСТВЕННЫЕ СЕВЕРНЫЕ ЗОРИ

Таинственные северные зори —
Столь долгие, столь полные прощанья!
Как медлит розоватое сиянье,
Как нехотя тускнеют облака.
И вдруг блеснет нежданный луч над морем,
И даль залива озарится светом,
Как будто солнце ласковым приветом
Душе напомним: Милость велика.

** Г. Рейндорф, график-пейзажист.*

В ЦЕРКВИ КЯСМУ

Я только имя Божье поняла
В иноязычном том богослуженьи —

Но задушевной силе кроткой речи,
Но песнопений простоте вняла.

Я мысленно стояла на коленях.
Я слушала — а музыка текла
К Тому, Кому понятны все наречья;
И слитна с ней мольба моя была.

КЯСМУ, МИЛЫЙ!

Вот я дошла, — и конец недалекой дороге.
Скоро дом наш, и морем запахло, и виден залив...
Кясму, милый мой Кясму! Давно ли я здесь, на пороге
новой дружбы стояла, впервые твой край полюбив.
Эта мирная зелень хозяйскою дышит заботой
обо всем: о дровах — и цветах, и о каждом кусте!
Через годы труда, через горькой судьбы повороты
светит белая ночь терпеливой эстонской мечте.
Статься может, последнее лето люблюсь тобою —
тем нежней и грустнее гляжу я на тихий закат,
на деревьев-красу и на кладбище, мне дорогое,
где и милые сердцу в блаженном покое лежат.

1985.

Ласкается пушистый
Доверчивый зверек —
То кясмуский душистый
Июльский ветерок;
А солнца луч не жжется,
Не жалит, но слегка,
Играя, как бы льется
По граням ветерка;
И сладкий дух жасмина,
И скошенных лугов,
И моря запах дынный,
И нежность облаков:
Ну что за миг бесценный
Нам дарит штиль, шалья.
О, будь благословенна

Эстонская земля!

Лето. Кясму, 1985.

ЧАСТЬ II

АВГУСТА ОСКАРОВНА ВЕЛЛЕРАНД И ИРИНА ИННОКЕНТЬЕВНА ПОДВЫСОЦКАЯ

С первой из них я встретила в первые же лета мои в Кясму. Человек со сложной и трудной биографией, в которой сменялись родные ее различных национальностей — шведы, немцы, эстонцы, — если не ошибаюсь. Была человеком веселого нрава, светлого духа. Маленькая, уютная, сердечно-приветливая. Взгляд открытый и радостный, лицо круглое, улыбающееся. Встреча с ней давала ощущение нежданного подарка от жизни. Очень разносторонне образованная, она читала в Доме культуры лекции (работала библиотекарем и читала) — не только в Вызу, но приезжала и к нам в Кясму. Одна из излюбленных тем ее была — жизнь Пушкина и все, что с нею было связано. Энергичная, трудолюбивая она вела большую переписку с потомками Пушкина, и с радостью делилась со своей аудиторией всем, что ей удавалось узнать. Труд, труд, труд. Но есть отдых у души: две, а может быть, три собачки? Мать и сын? Или отец и дочь? — Позабыла. Так радуются, так прыгают... Да их не две и не три — не сосчитать... Жила она вблизи Вызу в небольшой усадьбе, где вместе с мужем своим, эстонцем, занималась огородом и садом, и созывала к себе друзей на вкусный обед или чай с пирогом собственного искусного изделия. Именно там я с моей подругой Женей Куниной встретила с многолетним затем другом моим — ленинградкой Ириной Иннокентьевной Подвысоцкой. Среднего роста, тело полное, но легкое. Продолговатый овал лица, правильность черт. Взгляд внимательный, но не острый — мягкий. С первого рукопожатия этот взгляд покоится на мне и подруге, с живым интересом и дружески вникает, понимает, одобряет, радуется (обе мы что-то читаем: Женя — стихи, я — прозу), слушает. Как рассказать это чувство, что каким-то образом оказался в месте этом — -у-себя-дома-? Покой. Ничего объяснять не надо. Глоток за глотком погружение во что-то, что утоляет жажду. И жест, которым, глядя на нас, ласкает она привычно собачек, умиляясь их умилению, таков именно, как нужен собачьим душам, одновременно взволновываясь строкам стихов, теме моего рассказа; и столбики золотистого чая и ароматные ломти уже разрезанного пирога вызывают память о детстве. Это — в усадьбе под Вызу. Но вскоре, почти сразу — не Ирина Иннокентьевна, а Ириночка, возрастом мне — дочь, приезжает ко мне раз,

другой, и скоро еженедельно по два раза проводит со мной день, а затем я — к ней в Вызу, в прохладную большую двухкомнатную квартиру, и после обеда ложимся в широкие две постели — на отдых (сюда к матери приезжает на отпуск дочь, матери — доктору медицины).

Ириночка читает с осени по весну лекции — не студентам, врачам, и обожает свое дело, живет им преданно, радостно, как многотрудным ребенком. Муж Ириночки — старший патологоанатом Ленинграда, высокий красавец, умница. В знакомых разборчив, держится отстраненно. К радости Ириночки, меня признал сразу. Помню день: приехав на своей машине ко мне за женой и застав нас за поздним обедом, он подсел к нам, примкнул и, похваливая наш борщ, как мальчик хлебал его заодно с Ириночкой. У него, Дмитрия Ивановича, — пес, да какой! Породистый (какой-то терьер, черный с желтым, короткой мохнатости), в машине сидит рядом с хозяином и не сводит с него глаз. Но хозяин его ненадолго приезжает из Ленинграда, — редкий гость.

А когда Ириночка у меня, — мы иногда, устав от хозяйства, ходим в далекую столовую по лесной дороге и, вернувшись, ложимся спать — на часок — в маленькой моей комнате с занавесками с зеленоватым узором, и зовем их — подводное царство. После сна иногда идем в лес в сосновую тишь, иногда читаем стихи, вслух, на поляне Марии Эйнхольм с креслами между яблонь (ах, как понимает стихи этот доктор медицины!).

Лета идут одно за другим, дружба крепнет, — это такой мне подарок жизни — такая дочь! А зимой — Ленинград — Москва идут письма, и медленно подходит весна. Иногда по пути к автобусу мы заходим навестить Женю Кунину, и Ириночка по ходу дает указания, какое понижающее давление лекарство ей надо принять. Воскресенья проводят они вместе у Августочки — одно за другим, лето за летом — до трагического дня, когда добрый, молчаливый (по-русски не говорил) ее муж, принеся дров, вдруг над ними склонился — это была смерть. И не в силах одна справиться со своей усадьбой, Августа Оскаровна сменяла ее на квартирку в Вызу.

Чтобы память не путала годы, ставлю вехи: знакомство у Августочки Веллеранд с Ириной Иннокентьевной произошло в одно из первых лет со мной в Эстонии Е. Ф. Куниной, и она мне напоминает, что года через четыре или пять, внезапно, выйдя из машины, скончался от инфаркта муж Ириночки, Дмитрий Иванович, — и с тех пор ее утешением стала, кроме дочери (взрослой, замужем) — ее работа, которой она предалась с еще большим рвением, утратив многолетнего спутника жизни. Это горе еще теснее сблизило нас. Когда я днем ложилась у нее отдохнуть, — на тумбочке у кровати стоял

портрет ее мужа, с которым я успела сдружиться. Он как будто был еще с нами... А то, что хозяйева уже не сдали более комнат моей подруге, что я жила без нее в Кясму, тоже помогло нашему сближению с Ириночкой.

Должно быть, году в 1985, разработав план своих лекций врачам, Подвысоцкая уезжала, как всегда, бодро, к ленинградской работе, — но тут случилась беда, остановившая все течение ее жизни. Ленинград встретил ее вестью, что ее, ввиду 65-летия, перевели на собес, чтобы дать дорогу молодым. И рухнул человек, полный сил и познаний, рухнул — в депрессию. Степень депрессии этой была так глубока, что врачи не нашли иного лечения, как электрошоками. Может быть, сделай они 3-4, — она бы воспрянула, но ей сделали их 30 (при каждом она теряла сознание и утрачивала память). И она уже не стала собой, она лежала, ей ничего не хотелось, контакт с людьми прервался. И она скончалась в 1990 году, уже не приезжая в Вызу.

Что запомнила я еще об этом удивительном друге, подаренном мне в эстонской усадьбе у А. О. Веллеранд, — Ириночка моя не помнила родителей, выросла у тетки (профессорской же фамилии и звания), а няней ее была монашенка из разогнанного монастыря. Обеих она помнила с нежностью. Та же няня вырастила ее дочь. Мир ее памяти!

От кого, в первый же год, я услышала о монастыре Пюхтица, женском, где монахинь — 100 человек. И, услышав, прочтя в соседнем маленьком скромном курортке Вызу маршрут экскурсии в те края, стала ездить. Ездила с 1972 года, без подруги... Чтобы, отъехав в половине восьмого утра, попасть к самому высокому месту в Северной Эстонии, там — самый большой в Эстонии камень, у него экскурсанты снимаются — и на память, и чтобы видна была гора камня над человеческим телом; и Нарва, где мы в последующие поездки обедали, и курорт Усть-Нарва, и сосновый лес, сходящий к заливу...

Близ камня — на той же остановке автобуса — пристань речная, запах канатов, суда. Тут, у дороги, напротив смутно видимой дачи мемориальный камень Игоря Северянина, в Эстонии долго жившего, женившегося на эстонке, могила его в Таллинне...

И — магазин, где мы покупали что-то, вещи — дешевые, а прочность — навек, как и все, что произведено в Эстонии, и где-то трогательно-маленький краеведческий музей, и место, где был бой со шведами.

А автобус едет и едет, безупречно, по безупречной дороге, и вот уже

мы у Чудского озера — водная гладь, светлое бабочкино крыло далекой парусной лодки. Ужин в приозерном ресторанчике — и мы приехали в Куремяэ, в монастырь Пюхтица. Но тут я делаю остановку. Тут надо — рассказ о его построении князем Шаховским, Сергием, основание его — в год рождения моей сестры Марины — 1892. А в год рождения моего — открытие (освящение?) главного храма, Успенского — во имя успения Божьей Матери, и есть небольшие иконы, на которых — ходит Она по эстонской земле, в Куремяэ... И тут остановка, снова — рассказ о том, как когда-то в этом лесу шел Иоанн Кронштадтский (которого собираются канонизировать в этом году) и, глядя в просвет веток, на далекие пустые холмы, сказал: «Я вижу на них дивную обитель...» Тут некогда немецкие бароны помыкали эстонцами. Те находили якобы защиту от них — у князя Шаховского. Шаховской послал премьер-министру (Столыпину) донесение о том, что на этих холмах хотят строить кирху немецкие бароны. Он просил разрешения построить тут православную обитель. Оно было дано, и встала обитель. Немецкие бароны отомстили князю: пригласили на банкет, на котором его отравили. Жена его похоронила и построила храм во имя Св. Сергия Радонежского и продолжила стройку монастыря, почти на полвека пережив мужа. Ее положили рядом с мужем в ограде храма. — Сергей и Елизавета... Напротив растет дерево — не в обхват — выше разделилось на две мощные части, и народ пояснял: «два строителя монастыря». Кто все это мне рассказал? Позабыла. Экскурсия заканчивается к шести часам вечера, ко всеобщей в Успенском Пюхтицком храме — огромном, напомнившем мне кремлевские храмы в Москве.

Слушали монастырский хор, стояли часть службы — а я летела вниз по отлогому километру через лес к Источнику Чудотворному, где я каждый год раз, два или три за лето окуналась: каждое окунание по три раза, до шеи, во имя Отца и Сына, Святого Духа, содрогаясь от холода в черной воде, в деревянной купальне, куда сходят по очереди, по трем, четырем ступеням, держась за поручень. По шею, а не как другие, с головой, по моей близорукости не снимая очков, надетых на меня, как и на Марину, с десяти лет, но окатываю голову ледяной водой. Однажды встретился мне маленький щуплый старичок, который рассказывал идущим с ним в гору: «Я 10 лет не вставал, — так сильно болел ревматизмом — лечили, лечили... Услыхал про этот Источник, приехал. Десятый день окунаюсь и вот — смотрите, — хожу по холмам».

Вода течет из родника под часовней. Монахини наливают святую воду

— кому в кружки, кому в бидоны, в путь.

Начались мои окунания, видимо, с первого лета без Оли, но и без подруги моей, боявшейся холода. С 1972 года.

Вытираться не полагается. Прямо на тело, только начинающее согреваться, — сухое белье. А тем, кто окунается с головой, совет голову тоже не вытирать, а, прижимая волосы к голове, спускать с них текущую воду — сразу теплую шапку.

Никто никогда, конечно, не простуживается.

Живем дальше. За домом, там, где вчера ничего не заметила, — одиноко, легко, высоко — куст желтых роз, совсем иного, чем красные и чем розовые, строения — нежно качаясь, побеждая заросли.

В Коктебеле, у вдовы Макса Волошина, Марии Степановны, я в году 70 или 71 встретила с эстонским профессором литературы Вальмаром Адамсом, человеком пожилым с тонким выразительным лицом. Это была встреча с большим умом скептическим, редким собеседником. Мы беседовали в мастерской Макса, в родном, с юности, месте, и в 1972 году, узнав, что я в Эстонии, он пригласил меня к себе в имение, в Тарту, в Валгеметса. Но я ответила, что у меня гостит подруга, поэтесса и переводчица, и он пригласил и ее.

Мы ехали в очень плохом — что редко в Эстонии — автобусе, и кто-то едко шутил, что таллинские автобусы — столичные, а что Тарту, знаменитый своим Университетом, — это провинция.

После четырех часов пути мы приехали в Тарту, где нас встретила жена профессора Адамса, Лейда, чье открытое, умное, доброе лицо с горбоносим профилем до сих пор живо в памяти. Она довезла нас к себе в Валгеметса — на легковой машине, где нас встретил гостеприимный хозяин.

Обстановка дома была проста и одновременно уютна, и дни, проведенные у Адамсов, навсегда живы в душе. Валгеметса, если не ошибаюсь, — в южной части Эстонии, живописной, холмистой. Мы много гуляли в сопровождении Вальмара, он свел нас на хутор показать образцовый порядок, со старины уцелевший, рассказывал об эстонской культуре. Вспоминал о дружбе своей с Игорем Северяниным: «Он кончил всего два класса реального училища, — сказал он с доброй улыбкой, — а я — два факультета, но это не помешало дружбе». Адамс заботливо проводил нас в наш обратный путь — поездом.

Как горько было годы спустя узнать о смерти доброй и умной Лейды. Но он, слава Богу, здравствует. А подаренные нам его статьи о литературе и его стихи нам переводила Дагмар Нормет, и, должно быть, хорошо это делала, потому что дошел до нас его своеобразный, ни на кого не похожий стиль.

Шаг назад — кто же мне нашел жилье в Кясму? Почти невозможное дело! — Юдя, которую знала еще девочкой. Соня и Юдя Каган — друзья молодости моей... Со дня, когда началась дружба с Соней — зима 1921-1922 года. Москва, после разрухи. Вечер в квартире Бердяевых. Высокий, стройный, темноволосый, высоколобый человек, вернувшийся из Германии, там окончив курс, в Марбурге, у Германа Когена, не смогший остаться при его кафедре философии, философ Матвей Каган — он говорит. Это его доклад, говорит очень сложно, так что я, слушавшая лекции по философии в Университете Шаньявского, с трудом слежу за мыслью. И об этом друг Кагана, поэт и импровизатор Борис Михайлович Зубакин, и мой друг, утешая меня, сказал: «Не удивительно, он думает по-древнееврейски, переводит на древнегерманский и оттуда — уже на русский!» — так любовно шутил друг Матвея, которого Матвей любил, отвергая все слухи о нем, все рассказы, что в нем ум, доблесть, талант. И почти одновременно привел ко мне один из друзей моих, Эли Шноль, девушку, о которой сказал, что она — удивительна, ни на кого не похожа. И я с этой девушкой — ей было 19 лет, мне — 28 — проговорила до утра: значит, было о чем. И стала Соня ко мне приходиться изредка, но всегда — повелось, с вечера; сидеть до утра. По странной случайности фамилия Сони тоже была — Каган. А на следующий год вдруг пришли ко мне вместе — Матвей Каган и Соня Каган, не; знаю, где встретившиеся и ставшие — муж и жена. Дружба моя с ними крепла. И однажды, придя к ним после долгого перерыва, я увидела в детской кроватке крепкую темноглазую девочку — Юдю — Юде было восемь месяцев. Она все понимала и была похожа на отца. И я шила Юде кукол из шелковых и бархатных лоскутков. И потом прошла целая жизнь, Юдя сделалась латинистом, о Матвее осталась вдохновенная память. Соня давно перестала водить геологические экспедиции по Кавказу, и жили вместе Соня и Юдя. Я бывала у них очень часто, мы как-то друг без друга не могли. Но и это время прошло. На лето мать и дочь уезжали куда-то в Эстонию и говорили о ней с нежностью. Это началось еще в ту пору, когда Соня звонила мне: «Уже четвертый день Вас нет, я так не могу!» А с Юдей такая была близость вкусов, что на вопрос, была ли я на такой-то выставке, я отвечала: «Нет, не

была, — Юдя ходила!»

И мы ходили с подругой Женей («Куняева и Цветкова», которые не могут расстаться) к Каганам... Вообразите — у исхода поселка, у поворота в туда, где туман, — справа по пути прохождения участок хозяйки их, Сельмы Кааман: большое картофельное поле и, обойдя его, — вход в дом, окруженный кустами цветов, — без цветов эстонцы не дышат! Сельма — само благородство, но жестокий insult заставил продать поле и дом и впасть в руки племянницы, благородства лишенной. Новые хозяева до смерти Сельмы обещали ее холить; это делают, но племянница утверждает, что продажа — незаконие. Суд отвергает их, но, славя правду, Юдя, больная, из Москвы, едет в Таллинн и защищает их на суде... Возвращает им их доброе имя. А через три года, забыв благодарность, они отказывают Соне и Юде — в жилье. И нет больше мне Каганов в Кясму, вечеров у них — они где-то там, в Москве...

На обратном пути моем к дому — пораженность: не дней ли десять назад я старалась узнать, кто скопил, вырвал, смял целую россыпь крапивы, так мощно и высоко покрывавшую левый бок погребца, — и зачем? Кому она мешала быть? — негодование, протест... Я стою и взволнованно дышу: не только то заросло заново, что зверски вырвал какой-то негодник, — но и шире, и дальше радуется жизни крапива, сокрушается вместе со мной — о тех...

С семьей Тынсон я настолько срослась за почти четверть века, что не помню, с чего эта дружба началась. С Кясму слилось воспоминание об их домике — в глубине зеленого двора, чуть вниз шедшего. Никому другому не мог принадлежать этот дом, кроме матери, Хельги Юрьевны, и дочери, Хельги Леопольдовны, и мужа дочери, Арво, — словно это открылся, поднялся занавес — и предстал, как в пьесах Ибсена, интерьер норвежской пьесы, а на авансцене большая собака — боксер, цвета песка, с тупым, на мопса похожим, но огромнее его, носом, и доброты и ума несказанных, за что она и стала членом этой семьи, по имени Дээли. В норвежском домике — элегантно — простых очертаний, с густыми струями висящих до полу занавесей, окон к морю и в кусты цветов — кто же там мог жить другой, кроме, в Лозанне окончившей гуманитарный факультет Университета, матери, невысокой, легкой, светлоглазой, с внимательно-всматривающимся взглядом, вроде, улыбающимся. Мать, страстно любящая дочь и ею любимая, в тревоге о дочери, часто болевшей, о муже, о котором все говорили, что он «носит ее на руках», обожает, и какая собака самой доброй на свете породы, боксеров, могла бы наполнять эту семью собачьей, самой большой на земле преданностью, кроме могучей своим ростом и своей добротой, носившей имя

с двойной гласной, Деэли?

Иначе быть не могло, что молодая хозяйка, Хельга, — кем же ей быть, как не музыковедом-писательницей и не другом эстонского певца, знаменитого Георга Отса, которого постигла беда самой страшной болезни, и это в то время, когда Хельга Тынсон писала о нем монографию, и он смог, одним глазом после операции головы заглянуть в книгу о себе, тяжело больной. Хельга и фильм сделала о нем, вслед ему. А перевод на русский язык монографии автор нашла столь плохим, что заменила, по существу, — своим, несравненным, в дар памяти об ушедшем друге, прославившем Эстонию своим голосом. И я в Москве получила в подарок пластинку с его удивительным голосом.

Наша дружба — подруги моей, Евгении Куниной и моя, с матерью писательницы, Хельги Юрьевной, длилась все годы моих приездов в Кясму, и зимой — частой и нежнейшей перепиской до тех скорбных дней, когда она стала терять зрение.

Помню лето, когда Деэли, заболев и подвергшись лечению ветврача, вышла из его неудачных стараний с расчесанным ею самой от зуда — добрым ее плоским носом, и мы с подругой стали лечить ее гомеопатией, и Хельги Юрьевна говорила нам, что, когда она зовет ее: «Деэли, идем к Анастасии Ивановне и Евгении Филипповне», — собака вскакивает и бежит, понимая пользу гомеопатии, которую в те годы еще не уразумели врачи-аллопаты. И Деэли перестала чесаться. Но годы шли, и пришел срок жизни собачьей, и когда Деэли не стало, во дворе, в уголку, у кустов, под которыми шла черта моря, появилась могилка Деэли. Было настоящее семейное горе.

О ПРИБАЛТИЙСКОЙ ВОЛШЕБНИЦЕ

И вот еще тема, эстонская: в Кясму, на берегу залива живет пожилая женщина. По-моему, она волшебница. Почему? Ей несколько лет... Зная ее, — вижу каждое лето, более 20 лет, дело близится к четверти века, — я не замечаю в ней никакой перемены. Перемена сопутствует череде ее внуков, которых она терпеливо растит, — были маленькие, стали большие, а она — ее зовут Дагмар, Дагмар Нормет, — как была, такой и осталась. Мне особенно памятен сын ее дочери, Стэн: его отец — финн, высокого роста, белокурый и строгий, а Стэн — точно такой же, только очень маленький финн. Он своеволен и свободолюбив, строг к чужим, внимателен к молодой бабушке. Я его помню почти крошечным, он подымается год от году, как березка; дорастая до плеча Дагмар, перерос плечо. Я за годы не слышала ни одного окрика, — волшебницы не кричат, они — взглядывают, качнут головой, улыбнутся — и внук понимает без слов. Чем занимается Дагмар,

кроме череды внуков? Дагмар пишет детские книги; иллюстрации художников к ним, само собой разумеется, оживлены присутствием волшебства. Дагмар любит дельфинов, она видит их, выходя к заливу из своего домика у залива (и, если я ошибаюсь в географии и зоологии, что очень возможно), и в заливе Кясму их нет, то взгляд Дагмар легко пролетает пространство к, например, Черному морю (там и я их видела в детстве); она видит прыжки их, их повадки, привычки, улыбается их доброте, радуется их уму, и эстонское издательство выпускает ее книги одну за другой. И как из всех внуков мне запомнился больше всех белокурый и светлоглазый Стэн, так из всех книг Дагмар Нормет в памяти моей стоит название «Дельфиния», превышающая других — волшебством. Дом Дагмар — маленький, синий, блестит стеклом широкооконной прихожей, перед ней сад с застывшими валунами; они когда-то спускались ледником и поселялись, где им захотелось. В саду еще радуются жизни — качели, и калитка, выпускающая на дорогу у моря и впускающая гостей. А внутри гостеприимно горит камин, в нем в огне купаются саламандры. Но я не сказала, какой облик дал Бог Дагмар Нормет: статная, с легкой походкой, подвижная, проносящая на пути прохождения — веселье. На лице, постоянно меняющемся, — светятся и смеются глаза, карие и большие. В сочетании короткого носа и губ — лукавство. И не описать ее темных кудрей, обрамляющих прихотливо улыбающееся, таинственно и приветливо, ее вневозрастное лицо.

Евгения Кунина

ВЕЧЕР У ДАГМАР НОРМЕТ

Голубые переливы, переливы без конца.
Голубая даль залива здесь, у самого крыльца,
Розы рдяные заката расцветают за стеклом, —
Ваша комната богата морем, солнцем и теплом.

Вспышки золота в камине и сверкают и поют,
Невозвратности старинной воскрешается уют.
Чайки белые летают, ласточки снуют вокруг,
В доме Дагмар обитает гармоничной жизни дух.

1979 г.

СЕЛЬМА, РУЛИ, КОТ и КИРЮША

Это было в Кясму, что стелется узкой полосой меж заливом и лесом. Русские люди приезжают туда лето за летом — кто 15, кто 25 лет подряд,

радуясь, что в погранполосе — меньше народу.

В то лето я жила в Кясму уже десятый раз, а друзья мои, мне там нашедшие комнату, — вдвое больше. Я часто их навещала: Соню (мать) и дочь Юдю, живших так дружно, как будто у них одно сердце.

Так же дружно жили они со своей хозяйкой проуа Сельмой мужественных привычек и нрава. С ними в доме было еще двое: пес Рули и безымянный кот. Рули был черный с белым. По совпадению, странному, кот был тоже странный и белый — но в коте было больше белизны, чем черноты, а Рули — вполне отчетливо черно-белый.

Рули был к коту — жесток. А кот — как точнее выразить это? — кот пламенел вниманием к псу: пробовал ластиться, но, отвергнутый, уступал псу дорогу, смирялся с невеселой судьбой.

Пес казнил кота самым-самым тяжким из отвержений — он просто не замечал его. Эта человеческая по силе — да простят мне слово — трагедия происходила уже годы на фоне зеленого картофельного поля и огненных и белоснежных цветочных кустов, обходивших дом проуа Сельмы. Постояльцы только летом участвовали в ее жизни, и я только в воображении себе представить могу, как тяжело было коту испытывать равнодушие друга — зимой, в тесноте украшенных мебелью комнат, у тепла уютного очага.

Сельму же Рули любил беззаветно, всей преданностью собачьего сердца. Когда проуа Сельма, уйдя из дому, долго отсутствовала, Рули тосковал и, оживая под лаской ему уже годы знакомых русских женщин, матери и дочери, занимавших у проуа Сельмы две комнаты, шел с ними на почту или провожал их в магазин и обратно. Он знал, что не скоро он увидит хозяйку свою, что она уехала на автобусе на работу в соседний Вызу и вернется только после того, как постоялица-мать будет возиться целое утро в кухне, а дочь — шелестеть листами бумаги, бормотать что-то, раскрывать и закрывать книги... долго!.. Потом мать позовет дочь обедать — и когда пообедают они все, тогда только появится в конце огорода высокая, худая, родная Сельма, хозяйка! Вот тут начинается у Рули — раскаяние. Обнимая со всех сторон всего-навсего двумя лапами — Сельму, он легкими взвизгиваниями, переходящими в легкий вой, кается ей в том, что не дома ее дожидался, а ходил по поселку не с ней, ходил с чужими гулять, развлекался... Но хозяйка не смотрит на Рули, она снимает плащ, кивая рассеянно в его сторону, он же мешает ей...

Тогда, в отчаянии непонятости, Рули становится на задние лапы и передними, которыми собаки «служат» за сахар или печенье, опустив кисти лапок, — он, раскрыв обе свои собачьи ладони, взмахивает ими — назад, назад, трудностью этой обращая внимание хозяйки на силу своего покаяния...

И вот уже Сельма, поняв, — смеется, треплет за уши Рули... (Я бы хотела знать, как на все это смотрит бедный кот?..)

Но раз уже заговорили о Сельме, договорим, чтобы понятно стало — какая хозяйка у Рули, к которой он так привязан (а заодно станет ясно, какие бывают дачники).

Однажды, в отсутствие моих друзей, Сони и Юди, в дом, о коем идет речь, пришла жена одного пожилого приезжего писателя, очень заботившаяся о здоровье и об условиях отдыха мужа. (Знал ли он об этой ее заботе, я не знаю.) Она вошла к проуа Сельме вальяжным шагом и, убежденная в успехе своего предприятия, сказала ей так: «Вот что: вам платят за лето эти ваши жильцы — двести. На следующее лето мы будем у вас жить. Я вам заплачу — пятьсот».

Договорив свое предложение, устав от спешки в пути, она присела на минутку отдохнуть в уютное соломенное кресло. Но «ушам ее» и ей, несмотря на уют позы, пришлось, как говорят, «не поверить». Ибо Сельма, спокойно продолжая поливать цветы в горшках на окнах террасы, подымая и опуская носик леечки, отвечала тоном как бы созерцательным, как если бы дело шло вполне о чем-то отвлеченном, а не о деньгах:

— Я привыкла, — сказала Сельма, — распоряжаться комнатами моего дома сама, — и она вытерла тут же висевшей на гвозде тряпочкой воду, пролившуюся чуть-чуть через край подоконника, — в будущем году в этих комнатах будут жить... — и, назвав фамилию Сони и Юди, она прошла из террасы в дом. Что при этих словах испытала ее гостья — я не берусь рассказать.

Приближался конец лета, и я пришла к моим друзьям с маленьким фотоаппаратом «Любитель-2» — снять на прощанье проуа Сельму, ее огород, ее дом и, конечно, кота и Рули. Мне частично это удалось; правда, сопротивлялась старшая, та, которую я зову Соней. Должно быть, как и я, она отвращалась давно уж от зеркала (я помнила ее тому лет назад с полсотни — ее глаза огромные, широко раскрытые, маленький сомкнутый рот... кудри...).

Но что сделалось с поведением Рули?!.. Дав мне сфотографировать себя овечьи кротко, он начисто воспротивился моему желанию сфотографировать и кота (а я еще намеревалась ухитриться снять их вместе... Какой был бы кадр!..).

Рули не соглашался — он забегал вперед перед котом, прыгал яростно между нами — хвостом к коту, мордочкой ко мне, он лаял, он метался, обнимал меня с аппаратом умоляющими объятиями — я не знала, что делать! Наконец, он будто одумался, смолк, стал передо мной на задние лапы и попробовал, как все собаки, — «служить». Но я все рвалась, отстраняя его, —

к коту.

Тогда Рули отчаянным жестом вскинул вверх собачьи свои ладони и в полном молчании, последним усилием горя отогнул их назад — и замер. Он не отводил от меня, так стоя, взгляда, он гипнотизировал... Мне стыдно сказать, что я все-таки, погладив его, «чикнула», проходя, кота «Любителем-2».

Однажды к друзьям моим Соне и Юде пришли знакомые со своим старшим сыном Кирюшей. Кирюше было пять лет. По пути «следования» от калитки мимо длинного картофельного огорода он увидел сперва кота, потом Рули — и его заняла мысль, почему они оба черные с белым. Навстречу мальчику шла Юдя. Она тоже была в черном платье с белым узором, белолицая, черноволосая. Кирюшу эта игра цвета поразила как-то особенно, и он выразил удивление со всей непосредственностью своего возраста. В его вопросе звучало желание получить объяснение этой тройной проблеме. Задумчиво он спросил: «Может быть, Вы их мама?»

Юдя ему ответила так: «Да, мы — одна семья...» Тогда, из еще более глубокой задумчивости, Кирюша выговорил: «Может быть, чудо природы?»

Годы пройдут, и через пять-шесть лет (когда позади в семье будут два рождения — брата Илюши и его сестры Аси), когда кто-то из взрослых знакомых спросит его о ней, может быть, долгожданной дочке:

— Ну, а как сестричка твоя, Кирюша? Как — Ася?

Кирюша ответит, тоже задумчиво:

— Ася — девочка, поэтому она — прелестна. — И, возвращаясь к реальности дня: — Но вообще она — нестерпима... — Как точно он сказал о сестре, так часто мужья чувствуют о женах...

Но заглядывать в будущее — стоит ли? Любопытство, учащее людей гаданиям, подглядыванию в будущее — есть плод малодушия, и есть в этом — брешь в благородстве и недостаток достоинства.

Я думаю, нужно тут остановить рассказ о Рули и о Кирюше. Рули уже нет и нет Сельмы, она легла к родным своим на кладбище в Кясму, мы носим ей цветы на могилу, а кот все еще грациозно крадетя меж рядов картофельного поля. Думаю, он помнит Рули...

И вот — все лета мои в Кясму по многу раз в месяц останавливался на шоссе, а иногда и на самой нашей поляне — автобус с экскурсантами, и неизменно экскурсовод подводил слушателей своих к первой от входа на кладбище статуе работы известного эстонского скульптора Раудсеппа: в темной бронзе изображена — в целомудренной, склоненной над могилой позе юная девушка, простирающая над могилой руки с сосудом, из него сыплются живые цветы: это 15-летняя младшая сестра умершей Сигне

Тидеман горюет над ней, безвременно ушедшей... Юность Сигне оборвалась в 24 года. Она вела веселую светскую жизнь, увлекалась верховой ездой, приемом гостей, нарядами — но туберкулез — недуг, бич прошлых времен, положил ее в землю перед самым входом в лютеранский храм... Простой, как очертаниями, так и внутренним убранством — скамьи, кафедра для проповеди пастора, орган. Орган, похожий на ряды огромных флейт, часто звучал хором низких звуков в отошедшие годы, пока в Кясму жил летом молодой музыкант, москвич Миша Сапонов, и смолк вместе с кончившимися его приездами. Только редко, когда умирает кто-то, вновь звучит он под руками приезжих органистов.

Так жила церковь в день трагической гибели русской женщины именем Людмила. Моя подруга знала ее. Эта женщина очень любила плавать. Было 1 августа, лет, должно быть, десять назад. Ее муж уехал за билетами на 10 августа в Москву; уезжая, просил ее не купаться.

После его отъезда она стала звать знакомых женщин идти с нею в залив. Те отвечали, что уже — купались и больше не хотят. Но ради нее — пошли. Кясмуский залив — мелок. День был жаркий, но она уже долго была в воде, и они стали звать ее. Как бы в ответ она выплывала из-за далекого камня и снова, и снова, и эта повторность их испугала. Одна из них пошла в погранзону, прося послать моторную лодку — узнать, в чем дело. Солдат, замещавший начальника, отказался, не имея права без распоряжения командира... Сделать ничего нельзя было. Были небольшие волны и к вечеру эти волны принесли на себе женщину, лежащую на спине, не нахлебавшуюся воды. Тут на берегу ее и увидел муж. Похороны были торжественны. Русская колония нанесла горы цветов. Звучал орган, пела сестра хозяйки того дома, где они с мужем жили. После похорон могилу по периметру устали рядом толстых зажженных свечей. Муж пораженно смотрел на все это... 10 августа, день их отъезда, стал ее девятым днем...

Перед самыми окнами дома — сухая ветвь, не отпавшая от заросших прошлогодних роз, красных, в 30°-ный мороз зимой дотла замерзших — напроць! Столько красоты... От них — метром вперед, должно быть отросток той гущины — пробивается в жизнь причудливая ветка таких же, но редких, но робких, но — хотящих жить! — роз, ничего не знающих о конце, цветущих! нежно алеющих среди жесткой зелени шипов, — как алели и нежились, и расцветали тысячи лет назад...

Перед моим окном — зеленая буря. Вьются и бьются гибкие зеленые ветви, переплетаясь, сгибаясь к земле, тянут ко мне руки — это непомерно разросшиеся в таинственном климате — просто малиновые кусты. Внизу. А сверху к ним покровительственно наклоняются яблони, защищают от

непомерного ветра — но это вовсе не зеленая буря, это зеленый вихрь!

Небо за ним — серо, сменив с утра гнев на милость не раз, тучу на солнце — приучив нас к сменам света и мглы, делая из нас философов.

Это — эстонский день. 22-ое лето сменило здесь относительную бодрость на несомненную старость. Вчера наш автобус до Вызу ехал прямо в жерло будущего дождя, в низкий нависший вал над крышей автобуса, едущего неуклонно; и автобус, и дождь были действующими лицами хрестоматийной сказки, которой этот край является воплощением — непрерывный бой солнца и ветра, ветра и дождя, дождя, уже сохнувшего на ветвях от сверкнувшего в разрывах туч — солнца.

Вдруг мой зеленошумый вихрь увядает, на дальней поляне почудился пласт солнца и, опрокидывая шум, бросая в него тишину, солнечный свет ложится на землю — спокойно, как в первый раз, угнав мрак многочасовой — как видение, затеплив небеса синевой и светлыми облаками наставшего дня. О! Это Эстония...

Это я пишу год спустя тех увлеченных страниц моего прошлогоднего, 92-летнего, здоровья. Я проболела почти год и полузабыла то, что тогда написано. Я не помню, написала ли об еще одном уходе отсюда — одной удивительной женщины, пожилой, полной, доброй, умной, отлично знавшей английский. Подруга моя, Евгения Кунина, жила с ней в одном доме, дружили. Звали ее Суламифь.

Я только что рассказала о том, как мгновенно в Эстонии погода меняется. Это вовсе не значит, что она не может, еще больше, дальше — изменив вокруг все и вся, позабыв свое северное имя, стать Крымом на дни и на дни. Без счету. Жара!

Вот в такой день захотела идти со знакомыми в лес Суламифь. Но знакомые знали, что ей в лес сосновый, где жара густа, как смола, — вредно. Отговорили ее. Но через лес должна была своей дорогой пройти женщина, мало Суламифь знавшая и, соблазнившись тем, что им по пути, Суламифь пошла с ней. Они прошли этот жаркий и тихий лес. Давление у Суламифи в крови поднялось, о чем больная не знала. Знакомая, дойдя до поляны, на которой — горячие камни, села на камень — читать. А Суламифь увидела ручей. Он был, как сама прохлада. Радостно разувшись, она вошла в него босиком. И тотчас стала склоняться и падать — и это была смерть. О ней не сразу узнала читавшая книгу: Суламифь умерла без звука... Инсульт. От жары и ручья — мгновенный.

Но не появилась могила на кладбище кясмуском нашем, рядом с могилой Людмилы, волнами принесенной на берег. За Суламифью родные приехали и тело ее увезли...

Но довольно о смерти — ибо ее побеждает жизнь. Вечная! Которая отнимает у смерти и Суламифь, и Людмилу. И мы возвращаемся в жизнь.

Цветут темно-красные розы и бледно-палевые, и розы цвета зари... Месяц спустя поднялись на царственных стеблях гладиолусы, эти усеянные цветками лилий, символом гордости. Они гнутся в ветре, омываются под дождем и королевски недвижны в солнце. А у их ног выросли — им пора — анютины глазки, но это вовсе не то, что нам, русским, при этом названьи, мерещится. Они поднялись на своих тоненьких стебельках до половины высоты гладиолусов и красуются бархатно и цветно, темно-лиловые, светло-желтые царем природы разрисованные «анютины глазки», прославляя почву Эстонии.

А я все так же — кувшинами — ношу воду (не прошу помощи, но когда мне ее оказывают — благодарю, но настаиваю на том, чтобы и я сама воду носила), по четверть ведра выношу помой, не пользуюсь появившимся у моей милой хозяйки проу Марии — холодильником, хожу через капустный, клубничный и картофельный огород — в погреб в сырую прохладу — все те же две крутые ступеньки, по которым ходила Молодая старуха, принимают спускающийся шаг Старой старухи — ведь если бы мы все жили сегодня так же, как вчера (чтобы завтра, как сегодня), и так — день за днем — старости было бы куда труднее класть нас на лопатки. (Старой я себя вижу для других уже лет 30 — для себя — никогда.) Себе я просто «я», как в детстве, юности, зрелости — вне возраста, где грань? На зеркало взирая равнодушно, не гоняясь за наружной молодостью (ни разу в жизни Марина и я, всю молодость не тронули себя ни пуховкой пудреницы, ни краской. Брови, губы, глаза у меня и до десятого десятилетия, кроме воды и мыла, не ведают ничего). Я еще ни разу не сказала себе «этого я не могу» — в обиходе. Могу и влезть, и подлезть, тело заставляю быть гибким; кроме сна, не лежу, не «полеживаю», каждый час моего бдения — занят, да и как иначе? Времени в дне не излишек, — нехватка. Отдых? Лет 36-ти, 40-ка на Коктебельском берегу искала камешки; в гамаке — читала английские 19-го века, книги... (На это у меня теперь времени нет, тогда — было. Вся разница!)

А на самом берегу морского залива стоит в Кясму длинный, белый, пустооконный нежилой дом, дом-призрак прошлого, кончивший свою жизнь в год прихода в Эстонию советской власти, перенесшей маленький порт из Кясму — в Таллинн, соединившей их. И стихла жизнь белого длинного приморского дома, некогда — морского училища. И все вокруг — не фигурально, а буквально — «быльем поросло»... Но об этом — лучше стихами моей подруги, Евгении Куниной:

КЯСМУСКОЕ МОРЕХОДНОЕ УЧИЛИЩЕ

Сутулится, белея на пригорке,
И окнами чернея в пустоту,
Унылое забытое прегорько,
Как старый конь, ослепший на посту.

Трава кругом, и сосны, и забвенье,
И тихий плеск залива чуть вдали,
Туда, питомцев своего ученья,
Водить ты посылало корабли.

Ученики веселою гурьбою
Бывало, осаждали эту дверь,
Теперь же все пустынно пред тобою,
И кто вспомянет прежнее теперь?

Нет на тебе мемориальной даты,
Ни памяти потомков для веков,
Училище, которое когда-то
Стране дало отважных моряков.

Я болею. Почти год научаюсь болеть. Это трудно и горько. Плач стоит где-то у горла, но я верю в Творца, Ему же легко прекратить эти боли. Однако они длятся, — значит, так должно быть, и надо удерживать плач.

Все прекрасно вокруг, это твоя доля — болеть, только не падай духом, прими эту тебе посланную новизну и не закрывай глаз на — вокруг. Живи твой день, — урывай час и пиши, пиши об Эстонии, которую ты, может быть, не увидишь в 23-й раз... И благодари Бога, что боли твои дают тебе писать об Эстонии, ведь могли бы быть так сильны, что уже не могла бы писать! Но дар тебе дан — и справляйся с делами быта, и урывай час души.

Но вот наступает уныние: день за днем — когда началось? Когда кончится? — холод, ветер, дождь... Без просвета. Это — Эстония?

Топим печь, добрый сосед и я... Вместе мешаем кочергой гору углей, нет ли под ней — головешки! Наша осторожность дала то, что столько лет заботы об общей печи — не было ни разу угару, ни разу! В белом кафельном блеске печи наверху — два крюка. Я вешаю на них тяжелое ватное одеяло, сыреющее. Уже давно стала вечерами включать свет. Белые ночи в августе — посерели и скоро пройдут. Зашиваем посылки, тем облегчаем железнодорожный путь. Пропуск в погранзону истекает. Скоро — домой.

Ложусь, устав, на дневной сон.

Сплю. Что-то тревожит веки — поднимаю их: на стене моей зеленостенной комнаты — невероятное зрелище: солнце — всюду! — залило край стены и пылает по всей террасе. Вскликаю. Что? Когда? Ведь только что был дождь?.. Дождь! Приснился? За окном — роскошь лета! Малина ластится к яблоне в тишине безветрия, небеса — лилово-сини, как в Генуе. Удивляешься?.. но это ж — Эстония! И ты собираешься ее покинуть? О, до весны, только...

Мне сопутствует цыганский очаг: двухконфорная электроплитка, в картонном футляре, — как я, год от года ветшающая, она укутана шальями, платками, она — как человек, а все вокруг нее свободное под материями место уплотнено коробками и флаконами лекарств, ни крошечки пространства не пропадает. Мы вынимаем очаг и ставим его на маленький стол, на кирпичи возле ночного ложа, и каждый раз, как холодно, — очаг согревает комнату и варит суп, молодую картошку — в помощь столовой, куда ходим с соседом — в бывший пионерлагерь, где бывает рыба и шоколадный кисель и, когда можно, когда не пост — сбитые сливки!

И снова, снова вспоминаю, как много энергии было во мне в прежние годы, на восьмом десятке лет — это все мне давала Эстония. Не говоря о тех, первых годах, с внучкой Олей — приучение ее говорить по-английски, и уроки музыки... А то лето, когда на месяц отпуска приехала старшая внучка Рита, чтобы я говорила с ней по-французски. И втроем — и в столовую, и в магазины, и в кино — с уговором: с Ритой я — по-французски, с Олей — по-английски, и чтобы между собой — ни слова русского. Как срывались, и спорили...

А через дорогу, не видя всего этого, — бело желтеют крошечные ромашки, по-французски их зовут *raguerettes*, предки их у Леманского, Женевского озера цвели почти век назад, в нашем с Мариной детстве...

В Кясму, в старческой моей жизни тут, уже больше десяти лет — через стену с общей печкой живет пожилой (по возрасту — сын) инженер-ленинградец, живший тут же девятнадцать лет назад в той же комнате, с женой и большой семьей родных ее, но горькой волей судьбы этой жены лишившийся, поселившийся теперь со своей сестрой, племянницей и внучкой, в том Ленинграде, где я была в последний раз — когда? Три года назад?.. Вряд ли в Ленинград еще поеду когда-нибудь... Мне кажется, наша дружба крепка, она прошла через много людей, тут подолгу бывших. Не только я, но и все, кто знал соседа моего, — знают его как доброго, легкого на помощь человека, и горечь его утраты, и горечь моих начавшихся

заболеваний, старческих, может быть, сплотили нас в это лето еще крепче, чем в те, более счастливые годы. Он года полтора назад перенес микроинсульт, и мне не забыть никогда, как он, мне про болезнь свою не сообщив, встретил меня год назад на автостанции, как всегда впрягся в тележку с моим багажом и повез ее наверх. Я, опасаясь его обидеть опекой, шла рядом и мучилась, не имея возможности ему облегчить ношу, и как он, доблестно, молча, героически все довез, все снял — не показал виду... Я горюю, что он — из поколения неверующих, и, зная, что Бог это поколение жалеет, молюсь о нем...

Но я же в сущности ничего не сказала о нем, Кленове Иване Никитиче, — скажу, что за девятнадцать лет я не слышала от него осуждения кого-то, замечания о чем-то, жалобы на кого-то — то есть, что знает о нем один Бог — что он и есть истинный христианин, при этом не знающий, что есть Бог... И мне будет очень его не хватать в Москве, скоро...

А другие годы, их было — 5? 6? Когда уже без них, одна, я за столом на террасе переводила одну за другой две французские книги о Лурде, об открывшей Лурдский источник четырнадцатилетней Бернадетте Субиру, дочке бедного мельника... О явлениях ей Святой Девы — у входа в грот, над кустом шиповника, как шли за ней толпы, Святой Девы не видевшие, но замороженные видом преображающегося лица Бернадетты; преследования ее представителями католической церкви, прокурором и полицией, бесстрашие ее и Победа Правды, исцеления, чудеса, и через 46 лет — канонизация в соборе Святого Петра в Риме Ее, в 20 лет принявшей монашество под именем Марии Бернар! Сколько было сил у меня за этой работой! И зрение... А теперь — лупой, полстранички Евангелия и — немного из книги о старце Силуане... И письма друзьям... Легко с Олей тащили ведро из колодца, а теперь — кувшин из колонки; еще недавно — легко, как в юности, сбегала в погреб, теперь — избегаю...

А когда я открываю дверь погреба, где всегда росли ледяные голубо-лиловые колокольчики, как в Тарусе, — и где в этом году их нет — вижу из редких всходов крапивы — тянется мне навстречу — «я здесь!» — один маленький колокольчик, помнящий о Тарусе, во сне видящий сны об Оке...

Подсчет: первые пять лет (лучших) — с Олей, внучкой... Следующие, когда она в 15 лет, изменила мне, — я позвала к себе в комнату подружку Женю Кунину — о ней я уже писала — на четыре года моложе меня. Трудно, но выжили в маленькой комнатке. Разные привычки и характеры. На следующий год и на последующие 13 она нашла себе близко, через кладбище и через дорогу, комнату с отдельным ходом у стариков-эстонцев, бездетных, полюбила их очень. Стала, как и я к Марии Эйнхольм, приезжать к ним, как

домой, оставляя вещи и посуду. В первый год недооценив Кясму, тишь залива, через год стала «эстониться» и все короче, ближе вживаться в то — как словами сказать? — что всех нас, русских, раз попавших сюда, сродняет и притягивает. Маленькая эта «колония» русская и перезнакомилась, и привязалась друг к другу. Приучились к погоде Эстонии, в полчаса меняющей радость на огорчение и огорчение — на радость...

Я навещала мою подругу раза два, чаще — три в день, каждый раз поднимаясь сразу за калиткой на бугор и сразу с него спускаясь, со страхом упасть головой о стоящее на пути дерево, каждый раз, помолясь и о него не стукнувшись, веселясь, — и так — дни, так — лета, сквозь нашу шумную дружбу, о которой говорила местная поговорка, путавшая обе фамилии: «Все кричит Куняева на Цветкову, а расстаться не могут!» Так прошло 14 лет. И увы, они кончились: пожилой муж Жениной хозяйки — умер, и хозяйка, больная, взяла себе опекуна — а он построил у дома теплицу, колодец и еще, и еще; занял комнату, которую снимала подруга моя, и уже три года я тут — без нее. Мы часто ходили в сосновый лес и сидя там на плоском камне, работали, каждая — свое.

Из ворот направо — стоят сосны невиданной вышины, вдвое выше российских — чтобы увидеть их кроны — головы запрокинуть! Эстония...

Отчего этот феномен эстонских деревьев? Не только сосен и елей, а и наших плакучих берез, и сиреней, и высоких анютиных глазок? — от того ли, что сыро и этот вечный полив растит высоту непомерную? От того ли, что к солнцу тянутся от прохлады? Это царство сказочной высоты всего, на что падает зрение, чему не устаешь удивляться, и, уехав, не устаешь вспоминать и, как только заглянет весна в нашу зиму, не устаешь рваться назад? Разве я одна? Все, кто тут бывает со мной, — рвутся назад, в Эстонию.

Часть III

ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ В УСПЕНСКОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ В ПЮХТИЦЕ

К нему съезжается духовенство со всей Руси, и толпа народа окружает храм и холмы, его окружающие. Но там, где стечение людей, — там и милиция тесным кольцом напутствует празднику. Все давно привыкли к этому зрелищу, не удивляются.

И вспоминаю случай, бывший в Москве на Пасху, много лет назад в ту минуту, которой так ждет толпа, заполонившая площадь церковную, когда батюшка откроет, в полночь, двери церкви и возгласит: «Христос воскресе!», сотни голосов готовятся ответить «Воистину воскресе!»... — молодой

мужчина нагибается и хватает с земли камень — и в то же мгновение четыре мужских руки хватают его, по свистку подлетает машина, хулигана втаскивают в нее, машина отъезжает и толпа поглощает заступников священника — «переодетая милиция» ... — говорит кто-то.

Подобного ли опасаются эти ряды милиционеров, окружающие пнохтицкую толпу верующих?

И вот, после лет привычного уже зрелища, в какое-то не очень давнее из моих более 20 приездов в монастырь на Успение — глаза не верят себе — ни одного милиционера, стройно выходят из дверей храма Успенского священники и народ, крестный ход спускается по ступеням, хоругви, колокольный звон, церковное пение — старая Русь!.. И это зрелище повторилось уже не раз в эстонском Успенском монастыре, старая Русь зацвела на монастырских дорожках, цветет, как в годы моего детства, моей юности...

Впереди всех идет высокая статная монахиня в черном — Игуменья Варвара, за нею ряды монахинь, черный наряд свой носящие и в такой праздник, а за ними священство в сине-серебряных ризах, зажженных солнечным блеском. И волны колокольного звона качают радостный воздух, прославляя и древнерусское пение и великий праздник Успения — отшествия души Божьей Матери в иной мир, к сыну. А на иконе, которую несут торжественно-высоко, Христос, стоя в воздухе над телом своей матери, держа на руках, у груди ее душу в обличьи ребенка, как она держала его тело младенца на земле... А крестный ход направляется к Источнику, и толпа заливает всю дорогу. А в трапезной уже расставлены столы, и на ширину после строгого поста монастырь предложит верующим все, что только может предложить земля в праздник Успения, воскрешая картину старой Руси.

И еще, я не могу вам передать, как любят монахини свою Игуменью Варвару, строгую, добрую, благостную, всем родную мать.

ТАЛИННСКАЯ ХУДОЖНИЦА ИРИНА БРЖЕСКА

Пан Бржевский не любил евреев, нацию, отмеченную Богом в Библии, но еврейка была так прелестна, что гордый пан сделал ей предложение. Она, смеясь, согласилась, и они поженились, и появилась маленькая Ириночка Бржеска. Она нисколько не походила на своего отца, гордого пана, она была копия своей матери и веселилась с утра до вечера. А как она рисовала! (Это потому, что она уже становилась художницей...) На всем: на бумаге, на коробках с игрушками, на песке, на воде, но на воде почему-то не получалось. А когда Ириночка выросла, она выбрала палитру из дерева и на ней — густые масляные краски и стала писать портреты тех людей, которые

ей нравились, но она писала *al prima* (т. е. без поправок), — писала каждую натуру до тех пор, покуда портрет ей понравится. И когда в Таллинне, куда привела ее судьба, эстонцы увидели ее первую персональную выставку, они дали ей мастерскую в центре города на площади Свободы. А туда и меня привела к ней судьба, потому что мы подружились с ней в Кясму, и она там и в Таллинне написала с меня 24 портрета: и одну, и вдвоем с подругой моей Женей Куниной.

В пору, когда мы сдружились, она жила там зиму и лето. Внучка моя Оля к ней пристрастилась — обоюду! — отчего получился портрет Олечки, поныне висящий на стене ее взрослой квартиры. Неудержимой веселостью и энергией она завоевывала сердца сразу. Невысокая, неполная и нехудая, с беспорядочно разбросанными вокруг смуглого лица прядями каштановых волос, она больше походила на еврейку, чем на польку. В прошлом — замужем, оставившая 25-летнюю дочь мужу — чтобы целиком предаться живописи. Муж не хотел ее искусства в доме, хотел порядка, который она весело отодвигала в сторону, все дальше, пока не отодвинула дух чуждой ей жизни.

Ее портреты обладали удивительным свойством передавать-выявлять основные, часто и владельцу их маловедомые свойства, и, будучи *al prima*, рождали за собой вторые, и третьи, и четвертые, без счету, пока ее собственная душа не насыщалась душою натуры настолько, что могла перейти к другой. Детей она писала с особенным увлечением, и ее спящие дети так воплощали сон, что гостям хотелось тише ходить возле портрета, чтобы не разбудить. И какая-то из ее выставок показала эстонцам только детей. А с Эстонией она сжилась так крепко еще и по своей способности к языкам — по-эстонски говорила бегло, несмотря на 14 падежей, и понимала язык отлично (французскому выучилась сама). Портреты ее имели шумный успех, и заказы шли неумоно.

А за это время мы все три — Ирина, Женя и я, состарились; не совсем еще, но уже поседели, и Ирина сделала меня седой и только тогда успокоилась. Это был уже на хуторе, доставшемся ей чудом, в трех километрах от Пюхтицкого Успенского монастыря, где она стала жить летом и куда к ней приезжали люди, которые любовались ее работами и хотели, чтобы с них она написала портрет.

У нас, ее друзей, установился порядок — приезжать к ней под Успенье, окунаться в чудотворный монастырский источник. Туда меня не раз на машине из Таллинна возил врач-кардиолог и талантливый поэт Алик Левин — его стихи, как крылья ночной птицы, полыхали над всей Эстонией. Внезапная смерть Алика летом прошлого года потрясла всех его друзей. Но

когда перечитываешь его стихотворение «Аутодафе», датированное маем 1990-го, то начинаешь верить, что сам он внутренне предчувствовал свой уход.

«АУТОДАФЕ»

Высокому, как говорится, слогу
всенепрерывно отдавая дань,
мы прожили свой век, и, слава Богу,
всем бедным нам сегодня понемногу
понятным стало — дело наше дрянь.

Еще — что это и не наше Дело...
Еще — что мы-то вроде ни при чем...
Что не душа от тела отлетела,
а люди из особого отдела
ее давно свели со стукачом.

Теперь пора в дорогу без оглядки
туда, где нет ни виз, ни паспортов,
и жечь мосты, тогда и взятки гладки,
не нам теперь устраивать порядки,
определять — кто и каких сортов.

Мой Бог, гляди на нас, являя жалость,
яви свой свет на нас издалека.
Как мало утешения осталось,
как будто сердце прединфарктно сжалось
и нет в конце тоннеля огонька...

ИЗ ПИСЬМА ТАМАРЫ ЛЕВИНОЙ О КОНЦЕ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА ЛЕВИНА

Нет больше у нас Саши, у меня дорогого Алика. В ночь с 10-го на 11 июля 1990 г. он умер — внезапно, от нарушения ритма сердца, лежа в своей постели, читая газету и слушая «Свободу». К приезду «скорой помощи» он уже не дышал, и ничего нельзя было сделать. Похороны были 15 июля. Оплакивает его вся Эстония.

Я не могу поверить, что его больше нет. Потеряла с ним все. На этом и моя жизнь кончена. В последнее время он жил еще более полнокровной жизнью и верил в будущее своей родной Эстонии. На здоровье — ни одной

жалобы... Ничто не предвещало такой трагедии...

Дорогая Анастасия Ивановна! «Моя Эстония» лежит на его столе. Восьмого июля мы собирались к Вам, в Кясму, приехать, так как у Алика были вопросы и поправки — он хотел многое уточнить с Вами. Но из-за отсутствия бензина поездка сорвалась, поэтому Алик думал, что мы поедем на автобусе 14 или 15 июля...

Попадая к Ирине, чего мы только не отведали: грибы в сметане, яичницу с сыром, все плоды своего огорода, мед и прочее. На ночь она укладывала нас в большой комнате, зажигала лампадку и уходила к себе. А утром мы шли пешком, по лесу и полю на торжественную монастырскую службу.

Но однажды к ней на хутор в ее отсутствие пришли воры, — сорвали висячий замок и украли иконы, перед которыми так празднично и уютно горела ночами лампадка. Верно рассчитав время, когда она поет во храме (у нее был чудный альт), да и псаломщицей она работала.

«Ириночка, — сказала я ей, — Вы живете совсем одна в поле, Вы должны завести собаку!» На что Ирина ответила мне так: «Если я заведу собаку, я буду надеяться на собаку, а так — я надеюсь на Бога...» А потом настали болезни, и Ириночка ходила на костылях, и в наш приезд к ней она встретила нас на пороге — словами: «Я знала, что кто-то придет! У меня испортилось электричество, и я помолилась, чтобы кто-то пришел». А когда мои спутники электричество починили, и мы пили чай, кто-то из нас выразил сочувствие ее бедственному положению с болезнью ног. Ирина Бржеска ответила бодро: «Это ноги сдали, а портреты я же пишу руками...» И жизнь продолжается дальше.

Однажды Ирина повезла меня и мою спутницу — в монастырь из Таллинна; путь длился четыре часа. Я сидела левой щекой у замерзшего окна автобуса — и простудилась (дело было на Рождество). В монастырской гостинице нам дали теплую комнату, с подушками и стегаными одеялами, сшитыми из цветных треугольников и квадратиков — из народной русской мозаики. По протекции художницы, дружившей с Игуменьей, матушкой Варварой, нас пригласили на Рождественский обед. Гостей было много и в комнатах, и на лестничной площадке. Еда была проста и одновременно — сказочна. Цвел монастырский квас. Вокруг горело несметное число украшенных елок — это была, отраженная в зеркалах, одна елка, рождественская. К Игуменье после обеда я подошла, прося ее благословения.

— Матушка, разрешите ли Вы мне зимой окунуться? Мне идет 80-й год.

— С верой — конечно! — отвечала Игуменья, — наши женщины

каждый день купаются — смотрите: седеет Вас, — а какие розовые...

Я обрадовалась и пошла в купальню с обеими спутницами — хотя они окунаться и не собирались. Стоя над черной водой, уже раздетая, я себя спросила:

— Ведь ты простужена? И зимой окунаешься — впервые... И матушке ты этого не сказала...

И отвечала себе:

— Но ты веришь, что вода эта не простая?

И ответила: «Верю...»

— Тогда в чем же дело? — Лезь...

Я стала спускаться по лесенке. Нет, не холоднее была вода, чем летом! Думаю, что показалась даже теплее из-за контраста, летом в жару большего. Но что весело было мне, когда я вылезла из воды, три раза во имя Отца и Сына и Св. Духа окунувшись, это то, что не было и следа от простуды: точно вынули из меня занозу — и все.

Годы шли, все мы стали болеть. Хельги Юрьевна — умная, добрая, несравненный друг, была, должно быть, на год моложе меня и больше, чем я, болела; и в одно из лет Олав Маран не смог меня проводить в гости к моей эстонской подруге, как он делал это последние лета, когда уже не приезжала в свой норвежский домик семья Тынсон, уже болел Арво, — все оставались в Таллинне. Но жива, слава Богу, дочь, талантливая писательница-музыковед, и жив ее муж Арво Яама, и почта привозит от них письма, и пересылает им наши...

ВОСПОМИНАНИЯ ДОЧЕРИ О ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ ИРИНЫ БРЖЕСКА

Последние две недели своей жизни она прожила в Пюхтицком монастыре. Игуменья Варвара дала ей квартирку из двух комнат, послушницу и монашку — операционную сестру для ухода. Мама была довольно бодрая, иногда сидела. Ходить она не могла, как врачи утверждали, — по причине психологической — страх болей, страх падения (что нередко бывает в этом возрасте после костных операций). Однако она надеялась расходиться, и мы надеялись. Причиной смерти явилась тромбоэмболия сосудов мозга — как результат малой подвижности. Она скончалась на руках отца Сергия, который был ей близок. Она много раз его писала. Он сказал, что смерть ее была не тяжелой.

Далее, Игуменья Варвара сделала великий поминальный праздник по ней. Ее сразу поставили в Собор, читали всю ночь (умерла она 4 августа днем), на другой день служили поминальную службу по ней и покойному патриарху Пимену, читали всю ночь. В понедельник шестого отслужили

удивительную торжественную панихиду под райское пение. Затем усыпали хвоей всю дорожку от храма до кладбища, Игуменья приказала срезать лучшие розы, хор монахинь и сама Варвара проводили ее и пели до конца похорон. Игуменья повторяла: «Вы чувствуете, что нет тяжести? Вы чувствуете, что душа ее ликует?» Ее похоронили на почетном месте, рядом с матерью Силуаной, любимой ею. Мать Варвара сказала: «Ее вела богородица». Перед операцией 25-го февраля она сказала мне, что «в случае чего» похоронить ее в Пюхтице.

Ее могилка первая направо за часовенкой у входа на кладбище.

ЭПИЛОГ

ОБ ЭСТОНСКОМ ХУДОЖНИКЕ ОЛАВЕ МАРАНЕ

«Натура мертвая»! Какое странное
Название дано тому, что будет жить,
Переживет художника, века и страны,
И в вечность тянет огненную нить.

А. Ц.

Знаю этого художника и человека много лет и хочу сказать о нем свое слово — выразить то, что давно уже звучит во мне. Что я прежде всего могу сказать об Олаве Маране? Совершенно простую вещь: что он, как никто из всех, кого я видела в моей долгой жизни (а мне уже 95 лет, и я была в картинных галереях Германии, Франции и Италии), утверждает и освящает то, что преданно следует за человеком по земле; то, что так часто отбрасывает от себя презрительным жестом средний человек (мня себя сверхчеловеком): быт нашей жизни, служащий нам в наших земных потребностях, помогая нам от себя отрываться — ввысь.

Выбираю слова: слово «старинное» о живописи Марана падает само собой (и это слово с улыбкой напоминает нам, что и оно могло зваться в свое время новаторством, а затем, как и человек, старея, отошло за предел возраста, стало в отношении сегодняшнего дня «старинным»). Тут нужны другие слова.

Быт в натюрмортах Марана перерос понятие старины и шагает тихим шагом к понятию вневременного, вечного — отсюда удивительный покой этих картин. И еще одно чувство в нас зарождается перед полотнами художника: одушевленность всего, что он пишет; священность, спущенная к нам в них, их первозданное дыхание, чистота первого дня сотворения мира. И тогда понимаем мы всю нищету, всю ошибочность термина «nature morte» — мертвая природа, ибо многое можно сказать об изображенном, вернее,

воплощенном Олавом Мараном, вместо покоя мертвости — тут дышит именно жизнь, покой жизни в этой живой натуре.

Цветы Олава Марана. Его букеты! Трудно о них сказать... Как добивается он стереоскопичности этих волшебных букетов? Тайна художника. Мы стоим перед чудом: лепестки отделены друг от друга — воздухом; передние — словно совсем возле нас; задние отодвинуты ощутимым пространством. И тени живут меж них. Взгляд прикован восхитившимся изумлением: миг — и лепестки встрепенутся! Чувство, что каждый цветок — живой, что мы присутствуем при некоем чуде воплощения, и чувство это не покидает нас и после того, как насильно пришлось отвести глаза от картины: зовут, надо идти, но словно уже хлебнул живой воды, и тебе легко, светло, празднично. И все еще видишь — оком памяти — тот луч солнца, что скользил где-то позади букета астр, лишь задев отдельные лепестки, ту тень, которая поглощала уходящие вбок стебли с драгоценной ношей этой густоты, этой легкости, неповторимых оттенков колорита, ту единственность зрелища, словно первое воспоминание детства, которое молча подарил художник. Он и сам будто нехотя сменяет свои «экспонаты», ведь это страдание: оторваться от астр, перейти к тюльпанам, от тюльпанов к розам, оторваться от благоухания роз, розовых, бледно-янтарных, но уже пышные белые пионы берут нас в плен...

И вот натюрморт: темный фон, слева чуть светлей, чем справа. Над этим миром, этим спокойствием вековечной домашности, озаренной светом, светло-желтый — жбан? ковш? белый внутри, чуть отступя, — медная ступка, двухручная, с пестиком, той же тусклой меди: возле нее пустая яичная скорлупа. Еще две скорлупки яичные, пустотой зияют кротко, выполнив свой яичный долг. В глубине — налиты водою графин, мягко блестящий, чуть отсвечивая желтизной жбана. Между предметов — тени, делающие все выпуклым. Тишина...

Как передал художник в своих натюрмортах удивительное чувство тишины?

И вот неожиданно оказались рядом на этом пути одушевления предметов быта и растений Олав Маран и сказочник Метерлинк. И вправду — разве не сказочен тихий дом на краю Таллинна, где живет творец этих картин? Разве не сказочна художница, жена его, Сильвия, из-под чьей руки выходят тончайшие графические листы, тонкопись украшенных, перерожденных букв?

Портрет Сильвии. Прозрачность, хрупкость, неизъяснимое очарование этого женского облика, густота волос, окутавших это лицо, улыбчивая серьезность взгляда глаз, одновременно темных и светлых... Рядом со

статным, мужественным Олавом не могла встать иная, кроме Сильвии. И не мог защитить ее от всех трудностей жизни иной, кроме Олава. Да, библейский рассказ о том, как Бог создал подругу Адаму из его собственного ребра... Но, если Маран может быть сравнен с Адамом, ускользнула от сходства с Евой Сильвия, с Евой, увы, искусившейся... И вот на портрете воплощена Сильвия — и Сильвия, взглянув, говорит: «Жаль, что я не такая, но я хотела бы такой быть!»

...А за окном дома художника о чем-то шепчут ветви: уходит в бесконечную высь береза и, прильнув к окну, видишь, что она обнимает небо, а гуща ветвей превосходит обычное дерево — береза ждет кисти живописца... Та Лазурь, в которой утонуло дерево Марана, которая небесным шатром зовет людей к миру, освещает их земной путь. До последнего дня маленькой вечности на земле человека, до Последнего Дня.

Ответ Сильвии о портрете доказал правоту Олава. Ту великую скромность, которая обитает в их доме, с которой едут его картины на выставку. С которой он, прочтя эти мои слова, улыбнется, не согласится с ними.

Морские пейзажи. Один из них висит в моей квартире: широкая полоса песка, водная бесконечность с тусклыми водорослями и узкая полоса серо-сиреневатого моря, у берега шумящего длинной волной; отчетлива черта горизонта, поднявшая над собой очень бледно-серое небо. Слышно, как звенит тишина. Глядя на эту картину, вспоминаю ту, далекую, первую встречу с морем Италии. Далеко и плоско, крошечно зажатая между каких-то неровностей пейзажного рельефа, блеснула серебристой синевой узенькая полоска. Мы ждали, что оно вылетит к нам навстречу из-за поворота, сияющее и огромное, такое, как дышало и билось в стихах Пушкина.

— Я могу писать природу только Эстонии, — сказал мне Маран на предложение поехать к другому, южному морю, попробовать себя на Коктебеле. — Я мог бы им любоваться. Но писать бы я его не мог... Писать надо не с любованием, а с любовью. А любить можно только родное, близкое.

И опять натюрморты, бессловесный разговор вещей. Хлеб и яйца. Маленькая тяжесть яиц ощущается как драгоценная полнота, ненарушенность, таинственная в природе цельность, через всю скромность их назначения. Низкая коричневая тяжелая миска рядом с мерцающей медью пирожницы с лунками для пирожков, зовущий к еде свежий срез рижского хлеба. Как свидетель всего этого — молчание высокого медного кувшина, может быть, страждущего по воде. И все эти светло- и темно-коричневые оттенки зажжены блеском белой эмалированной кружки. Ей откликается, как

звук в оркестре, белая скатерть. Фон? Серо-голубоватый.

Амариллисы с серебряным сосудом. Что за грация! Это внезапный звук флейты, яркий блеск стеклянного кувшина. Цветы, сходные с лилией, неожиданно алые; на каждом лепестке — белая полоса! И внизу — матовый блеск из серебра сделанной корзиночки для сахара.

А напоследок сказала бы по-французски: *le bomble du bonheur* — верх счастья. Нежданность! Поглядите! Над крышами встала луна. Вплыла и — стала. Полнолуние. Золотое — неверно сказать — рыжее, ибо тусклое. Но странно: снег на крышах не мерцает в его свете. Это не белизна, это почти синева... Почему синева, когда луна рыжая? Она стоит в небе выше своего отсвета, безучастно, беззвучно. Если в некоторых натюрмортах Марана был музыкальный отзвук — тут полнейший покой, тишина, с которой мир вещей, природа глядит на нас, беззвучно повествуя о чем-то самом важном, о том, то придет после этой жизни, о Вечности.

P. S. Политика — не моя сфера. И несмотря на то, что она прокатилась по моему хребту так активно своим колесом (аресты, допросы, тюрьмы, лагерь и ссылка), она все-таки не стала моей сферой. Вероятно потому, что я — верующий человек, т. е. верю в Иную жизнь, а этой — только частично внимаю. Несмотря на все это я, полюбив Эстонию и желая ей того же, чего себе — Свободы, я за все 24 лета моих ни разу не написала в адресе эстонским друзьям «Эстонская ССР» — просто не поднималась рука! Но всегда — вольно и крупно «Эстония»... Вот мой маленький политический акт.

10 июля 1990 г.

Кясмю

Анастасия Цветаева

на 96-м году жизни